

Михаил Юрьевич Лермонтов

Княгиня Лиговская

Содержание

ГЛАВА I	0004
ГЛАВА II	0020
ГЛАВА III	0034
ГЛАВА IV	0057
ГЛАВА V	0070
ГЛАВА VI	0080
ГЛАВА VII	0103
ГЛАВА VIII	0114
ГЛАВА IX	0129

Михаил Юрьевич Лермонтов
КНЯГИНЯ ЛИГОВСКАЯ
Роман

ГЛАВА I

Поди! — поди! раздался крик!

Пушкин

В 1833 году, декабря 21-го дня в 4 часа пополудни по Вознесенской улице, как обыкновенно, валила толпа народу, и между прочим шел один молодой чиновник; заметьте день и час, потому что в этот день и в этот час случилось событие, от которого тянется цепь различных приключений, постигших всех моих героев и героинь, историю которых я обещался передать потомству, если потомство станет читать романы. — Итак, по Вознесенской шел один молодой чиновник, и шел он из департамента, утомленный однообразной работой, и мечтая о награде и вкусном обеде — ибо все чиновники мечтают! — На нем был картуз неопределенной формы и синяя ваточная шинель с старым бобровым воротником; черты лица его различить было трудно: причиною тому козырек, воротник — и сумерки; — казалось, он не торопился

домой, а наслаждался чистым воздухом морозного вечера, разливавшего сквозь зимнюю мглу розовые лучи свои по кровлям домов, соблазнительным блистаньем магазинов и кондитерских; порою подняв глаза кверху с истинно поэтическим умилением, сталкивался он с какой-нибудь розовой шляпкой и смутившись извинялся; коварная розовая шляпка сердилась, — потом заглядывала ему под картуз и, пройдя несколько шагов, оборачивалась, как будто ожидая вторичного извинения; напрасно! молодой чиновник был совершенно недогадлив!.. но еще чаще он останавливался, чтоб поглазеть сквозь цельные окна магазина или кондитерской, блистающей чудными огнями и великолепной позолотою. Долго, пристально, с завистью разглядывал различные предметы, — и, опомнившись, с глубоким вздохом и стоическою твердостью продолжал свой путь; — самые же ужасные мучители его были извозчики, — и он ненавидел извозчиков; «барин! куда изволите? — прикажете подавать? — подавать-с!» Это была пытка Тантала, и он в

душе глубоко ненавидел извозчиков.

Спустясь с Вознесенского моста и собираясь поворотить направо по канаве, вдруг слышит он крик: «берегись, поди!..» Прямо на него летел гнедой рысак; из-за кучера мелькал белый султан, и развевался воротник серой шинели. — Едва он успел поднять глаза, уж одна оглобля была против его груди, и пар, вылетающий клубами из ноздрей бегуна, обдал ему лицо; машинально он ухватился руками за оглоблю и в тот же миг сильным порывом лошади был отброшен несколько шагов в сторону на тротуар... раздалось кругом: «задавил, задавил», извозчики погнались за нарушителем порядка, — но белый султан только мелькнул у них перед глазами и был таков.

Когда чиновник очнулся, боли он нигде не чувствовал, но колена у него тряслись еще от страха; он встал, облокотился на перилы канавы, стараясь придти в себя; горькие думы овладели его сердцем, и с этой минуты перенес он всю ненависть, к какой его душа только была способна, с извозчиков на гнедых рысаков и белые султаны.

Между тем белый султан и гнедой рысак пронеслись вдоль до по каналу, повертели на Невский, с Невского на Караванную, оттуда на Симионовский мост, потом направо по Фонтанке — и тут остановились у богатого подъезда, с навесом и стеклянными дверьми, с медной блестящею обделкой.

Ну, сударь, — сказал кучер, широкоплечий мужик с окладистой рыжей бородой, — Васька нынче показал себя!

Надобно заметить, что у кучеров любимая их лошадь называется всегда Ваською, даже вопреки желанию господ, наделяющих ее громкими именами Ахилла, Гектора... она всё-таки будет для кучера не Ахел и не Нектор, а Васька.

Офицер слез, потрепал дымящегося рысака по крутой шее, улыбнулся ему признательно и вошел на блестящую лестницу; — об раздавленном чиновнике не было и помину... Теперь, когда он снял шинель, закиданную снегом, и вошел в свой кабинет, мы свободно можем пойти за ним и описать его наружность — к несчастью, вовсе не привлекательную; он был небольшого роста,

широк в плечах и вообще нескладен; казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению; походка его была несколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали лень и беззаботное равнодушие, которое теперь в моде и в духе века, — если это не плеоназм. — Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека; видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. Звуки его голоса были то густы, то резки, смотря по влиянию текущей минуты: когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться, и вдруг оканчивал едкой шуткой, чтоб скрыть собственное смущение, — и в свете утверждали, что язык его зол и опасен.. ибо свет не терпит в кругу своем ничего сильного, потрясающего, ничего, что бы могло обличить характер и волю: — свету нужны французские водевили и русская покорность чуждому мнению. Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любопытно для

Лафатера и его последователей: они прочли бы на нем глубокие следы прошедшего и чудные обещания будущности... толпа же говорила, что в его улыбке, в его странно блестящих глазах есть что-то...

В заключение портрета скажу, что он назывался Григорий Александрович Печорин, а между родными просто Жорж, на французский лад, и что притом ему было 23 года, — и что у родителей его было 3 тысячи душ в Саратовской, Воронежской и Калужской губернии, — последнее я прибавляю, чтоб немного скрасить его наружность во мнении строгих читателей! — виноват, забыл включить, что Жорж был единственный сын, не считая сестры, 16-летней девочки, которая была очень недурна собою и, по словам маменьки (папеньки уж не было на свете), не нуждалась в приданом и могла занять высокую степень в обществе, с помощью божией и хорошенького личика и блестящего воспитания.

Григорий Александрович, войдя в свой кабинет, повалился в широкие кресла; лакей вошел и доложил ему, что, дескать, барыня

изволила уехать обедать в гости, а сестра изволила уж откушать... «Я обедать не буду, — был ответ: я завтракал!..» Потом вошел мальчик лет тринадцати в красной казачьей куртке, быстроглазый, беленький, и с виду большой плут, — и подал, не говоря ни слова, визитную карточку: Печорин небрежно положил ее на стол и спросил, кто принес.

— Сюда нынче приезжали молодая барыня с мужем, — отвечал Федька, — и велели эту карточку подать Татьяне Петровне (так называлась мать Печорина).

— Что ж ты принес ее ко мне?

— Да я думал, что всё равно-с!.. может быть, вам угодно прочесть?

— То-есть, тебе хочется узнать, что тут написано.

— Да-с, — эти господа никогда еще у нас не были.

— Я тебя слишком избаловал, — сказал Печорин строгим голосом, — набей мне трубку.

Но эта визитная карточка, видно, имела свойство возбуждать любопытство... Долго

Жорж не решался переменить удобного положения на широких креслах и протянуть руку к столу... притом в комнате не было свеч — она озарялась красноватым пламенем камина, а велеть подать огню и расстроить очаровательный эффект каминного освещения ему также не хотелось. — Но любопытство превозмогло, — он встал, взял карточку и с каким-то непонятным волнением ожидания поднес ее к решетке камина... на ней было напечатано готическими буквами: князь Степан Степаныч Лиговский, с княгиней. — Он побледнел, вздрогнул, глаза его сверкнули, и карточка полетела в камин. Минуты три он ходил взад и вперед по комнате, делая разные странные движения рукою, разные восклицания, — то улыбаясь, то хмуря брови; наконец он остановился, схватил щипцы и бросился вытаскивать карточку из огня: — увы! одна ее половина превратилась в прах, а другая свернулась, почернела, — и на ней едва только можно было разобрать *Степан Степ...*

Печорин положил эти бранные остатки на

стол, сел опять в свои креслы и закрыл лицо руками — и хотя я очень хорошо читаю побуждения души на физиономиях, но по этой именно причине не могу никак рассказать вам его мыслей. В таком положении сидел он четверть часа, и вдруг ему послышался шорох, подобный легким шагам, шуму платья, или движению листа бумаги... хотя он не верил привидениям... но вздрогнул, быстро поднял голову — и увидел перед собою в сумраке что<-то> белое и, казалось, воздушное... с минуту он не знал на что подумать, так далеко были его мысли... если не от мира, то по крайней мере от этой комнаты...

— Кто это? — спросил он.

— Я! — отвечал принужденный контрольто — и раздался звонкий женский хохот.

— Варенька! — какая ты шалунья.

— А ты спал!.. ужасно весело!..

— Я бы желал спать. Оно покойнее!..

— Это стыд! — отчего нам на балах, в обществах так скушно!.. вы все ищете спокойствия... какие любезные молодые

Люди...

— А позвольте спросить, — возразил Жорж зевая, — из каких благ мы обязаны забавлять вас...

— Оттого, что мы дамы.

— Поздравляю. Но ведь нам без вас не скушно...

— Я почему знаю!.. и что мы станем говорить между собою?

— Моды, новости... разве мало? поверяйте друг другу ваши тайны...

— Какие тайны? — у меня нет тайн... все молодые люди так несносны...

— Большая часть из них не привыкли к женскому обществу.

— Пускай привыкают — они и этого не хотят попробовать!..

Жорж важно встал и поклонился с насмешливой улыбкой:

— Варвара Александровна, я замечаю, что вы идете большими шагами в храм просвещения.

Варенька покраснела и надула розовые губки... а брат ее преспокойно опять опустился в свои кресла. Между тем подали

свеч, и пока Варенька сердится и стучит пальчиком в окно, я опишу вам комнату, в которой мы находимся. — Она была вместе и кабинет и гостиная; и соединялась коридором с другой частью дома; светло-голубые французские обои покрывали ее стены... лоснящиеся дубовые двери с модными ручками и дубовые рамы окон показывали в хозяине человека порядочного. Драпировка над окнами была в китайском вкусе, а вечером, или когда солнце ударяло в стекла, опускались пунцовые шторы, — противуположность резкая с цветом горницы, но показывающая какую-то любовь к странному, оригинальному. Против окна стоял письменный стол, покрытый кипю картинок, бумаг, книг, разных видов чернильниц и модных мелочей, — по одну его сторону стоял высокий трельяж, увитый непроницаемою сеткой зеленого плюща, по другую кресла, на которых теперь сидел Жорж... На полу под ним разостлан был широкий ковер, разрисованный пестрыми арабесками; — другой персидский ковер висел на стене, находящейся против окон, и

на нем развешаны были пистолеты, два турецкие ружья, черкесские шашки и кинжалы, подарки сослуживцев, погулявших когда-то за Балканом... на мраморном камине стояли три алебастровые карикатурки Паганини, Иванова и Россини... остальные стены были голые, кругом и вдоль по ним стояли широкие диваны, обитые шерстяным штофом пунцового цвета; — одна единственная картина привлекала взоры, она висела над дверьми, ведущими в спальню; она изображала неизвестное мужское лицо, писанное неизвестным русским художником, человеком, не знавшим своего гения и которому никто об нем не позаботился намекнуть. — Картина эта была фантазия, глубокая мрачная. — Лицо это было написано прямо, безо всякого искусственного наклонения или оборота, свет падал сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо, — казалось, вся мысль художника сосредоточилась в глазах и улыбке... Голова была больше натуральной величины, волосы гладко упали по обеим сторонам лба, который круглó и сильно

выдавался и, казалось, имел в устройстве своем что-то необыкновенное. Глаза, устремленные вперед, блистали тем страшным блеском, которым иногда блещут живые глаза сквозь прорези черной маски; испытующий и укоризненный луч их, казалось, следовал за вами во все углы комнаты, и улыбка, растягивая узкие и сжатые губы, была более презрительная, чем насмешливая; всякий раз, когда Жорж смотрел на эту голову, он видел в ней новое выражение; — она сделалась его собеседником в минуты одиночества и мечтания — и он, как партизан Байрона, назвал ее портретом Лары. — Товарищи, которым он ее с восторгом показывал, называли ее порядочной картинкой.

Между тем, покуда я описывал кабинет, Варенька постепенно придвигалась к столу, потом подошла ближе к брату и села против него на стул; в ее голубых глазах незаметно было ни даже искры минутного гнева, но она не знала, чем возобновить разговор. Ей попалась под руки полусгоревшая визитная карточка.

— Что это такое? Степан Степ... А! это, верно, у нас нынче был князь Лиговский!.. как бы я желала видеть Верочку! замужем, — она была такая добрая... я вчера слышала, что они приехали из Москвы!.. кто же сжег эту карточку... Её бы надо подать маменьке!

— Кажется, я, — отвечал Жорж, — раскуривал трубку!..

— Прекрасно! я бы желала, чтоб Верочка это узнала... ей было бы очень приятно!.. Так-то, сударь, ваше сердце изменчиво!.. Я ей скажу, скажу — непременно!.. впрочем, нет! теперь ей должно быть всё равно!.. она ведь замужем!..

— Ты судишь очень здраво для твоих лет!.. — отвечал ей брат и зевнул, не зная, что прибавить...

— Для моих лет! что я за ребенок! маменька говорит, что девушка в 17 лет так же благоразумна, как мужчина в 25.

— Ты очень хорошо делаешь, что слушаешься маменьки.

Эта фраза, по-видимому, похожая на похвалу, показалась насмешкой; таким образом согласие опять расстроилось, и они

с замолчали... Мальчик взошел и принес записку: приглашение на бал к барону Р***.

— Какая тоска! — воскликнул Жорж. —
Надо ехать.

— Там будет mademoiselle Negouroff!.. —
возразила ироническим тоном Варенька. —
Она еще вчера об тебе спрашивала!.. какие у
нее глаза! — прелесть!..

— Как уголь, в горниле раскаленный!..

— Однако сознайся, что глаза чудесные!

— Когда хвалят глаза, то это значит, что
остальное никуда не годится.

— Смейся!.. а сам неравнодушен...

— Положим.

— Я и это расскажу Верочке!..

— Давно ли ты уверяла, что я для нее — всё
равно!..

— Поверьте, я лучше этого говорю по-
прусски — я не монастырка.

— О! совсем нет! — очень далеко...

Она покраснела и ушла.

Но я вас должен предупредить, что это был
на них черный день... они обыкновенно
жили очень дружно, и особенно Жорж любил
сестру самой нежною братскою любовью.

Последний намёк на mademoiselle Ne-gouroff (так будем мы ее называть впоследствии) заставил Печорина задуматься; наконец неожиданная мысль прилетела к нему свыше, он придвинул чернильницу, вынул лист почтовой бумаги — и стал что-то писать; покуда он писал, самодовольная улыбка часто появлялась на лице его, глаза искрились — одним словом, ему было очень весело, как человеку, который выдумал что-нибудь необыкновенное. — Кончив писать, он положил бумагу в конверт и подписал: Милостивой гос<ударыне> Елизавете Львовне Негуровой в собственные руки; — потом кликнул Федьку и велел ему отнесть на городскую почту — да чтоб никто из людей не видал. Маленький Меркурий, гордясь великой доверенностию господина, стрелой помчался в лавочку; а Печорин велел закладывать сани и через полчаса уехал в театр; однако, в этой в поездке ему не удалось задавить ни одного чиновника.

ГЛАВА II

Давали Фенеллу (4-е представление). В узкой лазейке, ведущей к кассе, толпилась непроходимая куча народу... Печорин, который не имел еще билета и был нетерпелив, адресовался к одному театральному служителю, продающему афиши. За 15 рублей достал он кресло во втором ряду с левой стороны — и с краю: важное преимущество для тех, которые берегут свои ноги и ходят пить чай к Фениксу. — Когда Печорин вошел, увертюра еще не начиналась, и в ложи не все еще съехались; — между прочим, прямо над ним в бельэтаже была пустая ложа, возле пустой ложи сидели Негуровы, отец, мать и дочь; — дочка была бы недурна, если б бледность, худоба и старость, почти общий недостаток петербургских девушек, не затмевали блеска двух огромных глаз и не разрушивали гармонию между чертами довольно правильными и остроумным выражением. Она поклонилась Печорину довольно ласково и просияла улыбкой.

«Видно, еще письмо не дошло по адресу!» — подумал он и стал наводить лорнет на другие ложи; в них он узнал множество бальных знакомых, с которыми иногда кланялся, иногда нет; смотря по тому, замечали его или нет; он не оскорблялся равнодушием света к нему, потому что оценил свет в настоящую его цену; он знал, что заставить говорить об себе легко, но знал также, что свет два раза сряду не занимается одним и тем же лицом; ему нужны новые кумиры, новые моды, новые романы... ветераны светской славы, как и все другие ветераны, самые жалкие создания... В коротком обществе, где умный, разнообразный разговор заменяет танцы (рауты в сторону), где говорить можно обо всем, не боясь цензуры тетюшек, и не встречая чересчур строгих и неприступных дев, в таком кругу он мог бы блистать и даже нравиться, потому что ум и душа, показываясь наружу, придают чертам жизнь, игру и заставляют забыть их недостатки; но таких обществ у нас в России мало, в Петербурге еще меньше, вопреки тому, что

его называют совершенно европейским городом и владыкой хорошего тона. Замечу мимоходом, что хороший тон царствует только там, где вы не услышите ничего лишнего, но уввы! друзья мои! зато как мало вы там и услышите.

На балах Печорин с своею невыгодной наружностью терялся в толпе зрителей, был или печален — или слишком зол, потому что самолюбие его страдало. Танцуя редко, он мог разговаривать только с теми дамами, которые сидели весь вечер у стенки, — а с этими-то именно он никогда не знакомился... У него прежде было занятие — сатира, — стоя вне круга мазурки, он разбираал танцующих, — и его колкие замечания очень скоро расходились по зале и потом по городу; — но раз как-то он подслушал в мазурке разговор одного длинного дипломата с какою-то княжною... Дипломат под своим именем так и печатал все его остроты, а княжна из одного приличия не хохотала и во всё горло; — Печорин вспомнил, что когда он говорил то же самое и гораздо лучше одной из бальных нимф дня три тому назад — она

только пожалала плечами и не взяла на себя даже труд понять его; с этой минуты он стал больше танцевать и реже говорить умно; — и даже ему показалось, что его начали принимать с большим удовольствием. Одним словом, он начал постигать, что *по коренным законам общества в танцующем кавалере ума не полагается!*

Загремела увертюра; всё было полно, одна ложа рядом с ложей Негуровых оставалась пуста и часто привлекала любопытные взоры Печорина; это ему казалось странно, — и он желал бы очень наконец увидеть людей, которые пропустили увертюру Фенеллы.

Занавес взвился, — и в эту минуту застучали стулья в пустой ложе; Печорин поднял голову, — но мог видеть только пунцовый берет и круглую белую божественную ручку с божественным лорнетом, небрежно упавшую на малиновый бархат ложи; несколько раз он пробовал следить за движениями неизвестной, чтобы разглядеть хоть глаз, хоть щечку; напрасно, — раз он так закинул голову назад, что мог бы видеть лоб и глаза... но как назло

ему огромная двойная трубка закрыла всю верхнюю часть ее лица. — У него заболела шея, он рассердился и дал себе слово не смотреть больше на эту проклятую ложу. Первый акт кончился, Печорин встал и пошел с некоторыми из товарищей к Фениксу, стараясь даже нечаянно не взглянуть на ненавистную ложу.

Феникс — ресторация — весьма примечательная по своему топографическому положению в отношении к задним подъездам Александрийского театра. Бывало, когда неуклюжие рыдваны, влекомые парюю хромых кляч, теснились возле узких дверей театра, и юные нимфы, окутанные грубыми казенными платками, прыгали на скрипучие подножки, толпа усастых волокит, вооруженных блестящими лорнетами и еще ярче блистающими взорами, толпились на крыльце твоём, о Феникс! но скоро промчались эти буйные дни: и там, где мелькали прежде черные и белые султаны, там ныне чинно прогуливаются треугольные шляпы без султанов; великий пример переворотов

судьбы человеческой!

Печорин взошел к Фениксу с одним преображенским и другим конноартиллерийским офицером. — Он велел подать чаю и сел с ними подле стола; народу было много всякого; за тем же столом, где сидел Печорин, сидел также какой-то молодой человек во фраке, не совсем отлично одетый и куривший собственные пахитосы к великому соблазну трактирных служителей. — Этот молодой человек был высокого роста, блондин и удивительно хорош собою; большие томные голубые глаза, правильный нос, похожий на нос Аполлона Бельведерского, греческий овал лица и прелестные волосы, завитые природою, должны были обратить на него внимание каждого; одни губы его, слишком тонкие и бледные в сравнении с живостию красок, разлитых по щекам, мне бы не понравились; по медным пуговицам с гербами на его фраке можно было отгадать, что он чиновник, как все молодые люди во фраках в Петербурге. Он сидел задумавшись и, казалось, не слушая разговора офицеров, которые шутили,

смеялись и рассказывали анекдоты, запивая дым трубки скверным чаем. Между прочим стали говорить о лошадях: один артиллерийский поручик хвастался своим рысаком; начался спор. Печорин à propos[1] рассказал, как он сегодня у Вознесенского моста задавил какого-то франта, и умчался от погони... Костюм франта в измятом картузе был описан, его несчастное положение на тротуаре также. Смеялись. Когда Печорин кончил, молодой человек во фраке встал и, протянув руку, чтоб взять шляпу со стола, сдернул на пол поднос с чайником и чашками; движение было явно умышленное; все глаза на него обратились; но взгляд Печорина был дерзче и вопросительнее других; — кровь кинулась в лицо неизвестному господину, он стоял неподвижен и не извинялся — молчание продолжалось с минуту. Сделался кружок, и все предугадывали *историю*. Вдруг Печорин опять сел и громко кликнул служителя: «что стоит посуда?» — ему сказали цену втрое дороже.

— Этот чиновник так был неловок, что

разбил ее, — продолжал Жорж холодно; — вот деньги! — Он бросил деньги на стол — и прибавил:

— Скажи ему, что теперь он может отсюда уйти свободно.

Служитель при всех доложил с почтением чиновнику, что он всё получил, — и просил на водку!.. Но тот, ничего не отвечая, скрылся: толпа хохотала ему вослед; — офицеры смеялись еще больше... и хвалили товарища, который так славно отделал противника, не запутавшись между тем в *историю*. — О! история у нас вещь ужасная; благородно или низко вы поступили, правы или нет, могли избежать или не могли, но ваше имя замешано в историю... всё равно, вы теряете всё: расположение общества, карьер, уважение друзей... попасться в историю! ужаснее этого ничего не может быть, как бы эта история ни кончилась! Частная известность уж есть острый нож для общества, вы заставили об себе говорить два дня. — Страдайте ж двадцать лет за это. Суд общего мнения, везде ошибочный, происходит однако у нас совсем на других

основаниях, чем в остальной Европе; в Англии, например, банкротство — бесчестие неизгладимое, — достаточная причина для самоубийства. Развратная шалость в Германии закрывает навсегда двери хорошего общества (о Франции я не говорю: в одном Париже больше разных общих мнений, чем в целом свете) — а у нас?.. объявленный взяточник принимается везде очень хорошо: его оправдывают фразой: и! кто этого не делает!.. Трус обласкан везде, потому что он смиренный малый, а замешанный в историю! — о! ему нет пощады: маменьки говорят об нем: «бог его знает, какой он человек», и папеньки прибавляют: «мерзавец!..»

Офицеры без новой тревоги допили свой чай и пошли; Печорин вышел после всех; на крыльце кто-то его остановил за руку, примолвив: «я имею с вами поговорить!» По трепету руки он отгадал, что это его давешний противник; нечего делать: не миновать истории.

— Извольте говорить, — отвечал он небрежно. — Только не здесь на морозе.

— Пойдемте в коридор театра! — возразил чиновник. — Они пошли молча.

Второй акт уже начался: коридоры и широкие лестницы были пусты; на площадке одной уединенной лестницы, едва освещенной далекой лампой, они остановились, и Печорин, сложив руки на груди, прислонясь к железным перилам и прищуриль глаза, окинул взором противника с ног до головы и сказал:

— Я вас слушаю!..

— Милостивый государь, — голос чиновника дрожал от ярости, жилы на лбу его надулись, и губы побледнели, — милостивый государь!.. вы меня обидели! вы меня оскорбили смертельно.

— Это для меня не секрет, — отвечал Жорж, — и вы могли бы объясниться при всех: — я вам отвечал бы то же, что теперь отвечу... когда ж вам угодно стреляться? нынче? завтра? — я думаю, что угадал ваше намерение; по крайней мере разбитие чашек не было случайностью: вы хотели с чего-нибудь начать... и начали очень остроумно, — прибавил он, насмешливо

ПОКЛОНИВШИСЬ...

— Милостивый государь! — отвечал он задыхаясь, — вы едва меня сегодня не задавили, да, меня, который перед вами... и этим хвастаетесь, вам весело! — а по какому праву? потому что у вас есть рысак, белый султан? золотые эполеты? Разве я не такой же дворянин, как вы? — Я беден! — да, я беден! хожу пешком — конечно, после этого я не человек. Я же только дворянин! — А! вам это весело!.. вы думали, что я буду слушать смиренно дерзости, потому что у меня нет денег, которые бы я мог бросить на стол!.. Нет, никогда! никогда, никогда я вам этого не прощу!..

В эту минуту пламеневшее лицо его было прекрасно, как и буря; Печорин смотрел на него с холодным любопытством и наконец сказал:

— Ваши рассуждения немножко длинны — назначьте час — и разойдетесь: вы так кричите, что разбудите всех лакеев: — и точно, некоторые из них, спавшие на барских салопах в коридоре первого яруса, начали поднимать головы...

— Какое дело мне до них! — пускай весь мир меня слушает!..

— Я не этого мнения... Если угодно завтра в восемь часов утра я вас жду с секундantom.

Печорин сказал свой адрес...

— Драться! я вас понимаю! — насмерть драться!.. И вы думаете, что я буду достаточно вознагражден, когда всажу вам в сердце свинцовый шарик!.. Прекрасное утешение!.. Нет, я б желал, что вы жили вечно, и чтоб я мог вечно мстить вам. Драться! нет!.. тут успех слишком неверен...

— В таком случае ступайте домой, выпейте стакан воды и ложитесь спать, — возразил Печорин, пожав плечами, и хотел идти.

— Нет, постойте, — сказал чиновник, придя несколько в себя, — и выслушайте меня!.. Вы думаете, что я трус? как будто храбрость не может существовать без вывески шпор или эполетов? Поверьте, что я меньше дорожу жизнью и будущностью, чем вы! Моя жизнь горька, будущности у меня нет... я беден, так беден, что хожу в стулья; я не могу раз в год бросить 5 рублей для своего удовольствия, я живу жалованьем, без

друзей, без родных — у меня одна мать, старушка... я всё для нее: я ее провидение и подпора. Она для меня: и друзья и семейство; с тех пор, как живу, я еще никого не любил кроме ее: — потеряв меня, сударь, она либо умрет от печали, либо умрет с голоду...

Он остановился, глаза его налились слезами и кровью...

— И вы думали, что я с вами буду драться?..

— Чего ж, наконец, вы от меня хотите? — сказал Печорин нетерпеливо.

— Я хотел вас заставить раскаяться.

— Вы, кажется, забыли, что не я начал ссору.

— А разве задавить человека ничего — шутка — потеха?

— Я вам обещаю высечь моего кучера...

— О, вы меня выведете из терпения!..

— Что ж? мы тогда будем стреляться!..

Чиновник не отвечал, он закрыл лицо руками, грудь его волновалась, в его отрывистых словах проглядывало отчаяние, казалось, он рыдал и наконец он воскликнул:

«Нет, не могу, не погублю ее!..» — и убежал.

Печорин с сожалением посмотрел ему вслед и пошел в кресла: второй акт Фенеллы уж подходил к концу... Артиллерист и преображенец, сидевшие с другого края, не заметили его отсутствия.

ГЛАВА III

Почтенные читатели, вы все видели сто раз Фенеллу, вы все с громом вызывали Новицкую и Голланда, и поэтому я перескочу через остальные 3 акта и подыму свой занавес в ту самую минуту, как опустился занавес Александрийского театра, замечу только, что Печорин мало занимался пьесой, был рассеян и забыл даже об интересной ложе, на которую он дал себе слово не смотреть.

Шумною и довольною толпою зрители спускались по извилистым лестницам к подъезду... внизу раздавался крик жандармов и лакеев. Дамы, закутавшись и прижавшись к стенам, и заслоняемые медвежьими шубами мужей и папенек от дерзких взоров молодежи, дрожали от холоду — и улыбались знакомым. Офицеры и штатские франты с лорнетами ходили взад и вперед, стучали — одни саблями и шпорами, другие калошами. Дамы высокого тона составляли особую группу на нижних ступенях парадной лестницы, смеялись, говорили громко и

наводили золотые лорнетки на дам без тона, обыкновенных русских дворянок, — и одни другим тайно завидовали: необыкновенные красоте обыкновенных, обыкновенные, увы! гордости и блеску необыкновенных.

У тех и у других были свои кавалеры; у первых почтительные и важные, у вторых услужливые и порой неловкие!.. в середине же теснился кружок людей не светских, не знакомых ни с теми, ни с другими, — кружок зрителей. Купцы и простой народ проходили другими дверями. — Это была миньютюрная картина всего петербургского общества.

Печорин, закутанный в шинель и надвинув на глаза шляпу, старался прорваться к дверям. Он поравнялся с Лизаветою Николавной Негуровой; на выразительную улыбку отвечал сухим поклоном и хотел продолжать свой путь, но был задержан следующим вопросом: «Отчего вы так серьезны, monsieur George?[2] — вы недовольны спектаклем?»

— Напротив, я во всё горло вызывал Голланда!

— Не правда ли, что Новицкая очень мила!

— Ваша правда.

— Вы от нее в восторге?

— Я очень редко бываю в восторге.

— Вы этим никого не ободряете! — сказала она с досадою и стараясь иронически улыбнуться...

— Я не знаю никого, кто бы нуждался в моем ободрении! — отвечал Печорин небрежно. — И притом восторг есть что-то такое детское...

— Ваши мысли и слова удивительно подвержены перемене... давно ли...

— Право...

Печорин не слушал, его глаза старались проникнуть пеструю стену шуб, салопов, шляп... ему показалось, что там, за колонною, мелькнуло лицо ему знакомое, особенно знакомое... в эту минуту жандарм крикнул, и долговязый лакей повторил за ним: «карета князя Лиговско́ва!».. С отчаянными усилиями расталкивая толпу, Печорин бросился к дверям... перед ним человека за четыре, мелькнул розовый салоп, шаркнули ботинки... лакей подсадил розовый салоп в блестящий купе, потом вскарабкалась в него

медвежья шуба, дверцы хлопнули, — «на Морскую! пошел!».. Интересную карету заменила другая, может быть, не менее интересная, только не для Печорина. Он стоял как вкопанный!.. Мучительная мысль сверлила его мозг: эта ложа, на которую он дал себе слово не смотреть... Княгиня сидела в ней, ее розовая ручка покоилась на малиновом бархате; ее глаза, может быть, часто покоились на нем, а он даже и не подумал обернуться, магнетическая сила взгляда любимой женщины не подействовала на его бычачьи нервы — о, бешенство! он себе этого никогда не простит! Раздосадованный, он пошел по тротуару, отыскал свои сани, разбудил толчком кучера, который лежал свернувшись, покрытый медвежьего полостью, и отправился домой. А мы обратимся к Лизавете Николавне Негуровой и последуем за нею.

Когда она села в карету, то отец ее начал длинную диссертацию насчет молодых людей нынешнего века. «Вот, например, Печорин, — говорил он, — нет того, чтоб искать во мне или в Катеньке (Катенька его

жена, 55 лет) нет, и смотреть не хочет!.. как бывало в наше время: влюбится молодой человек, старается угодить родителям, всей родне... а не то, чтоб всё по углам с дочкой перешептываться, да глазки делать... что это нынче, страм смотреть!.. и девушки не те стали!.. Бывало, слово лишнее услышат — покраснеют да и баста, уж от них не добьешься ответа... а ты, матушка, 25 лет девка, так на шею и вешаешься... замуж захотелось!»

Лизавета Николавна хотела отвечать, слезы навернулись у нее на глазах... — и она не могла произнести ни слова; Катерина Ивановна за нее заступилась!..

«Уж ты всегда на нее нападаешь... понапрасну!.. Что ж делать, когда молодые люди не женятся... надо самой не упускать случая! Печорин жених богатый... хорошей фамилии, чем не муж? Ведь не век же сидеть дома... — слава богу что мне ее наряды-то стоят... а ты свое: замуж хочешь, замуж хочешь? — Да кабы замуж не выходили, так что бы было...» и проч...

Эти разговоры повторялись в том или

другом виде всякий раз, когда мать, отец и дочь оставались втроем... дочь молчала, а что происходило в ее сердце в эти минуты, один бог знает.

Приехали домой. Катерина Ивановна с ворчливым супругом отправились в свою комнату — а дочка в свою. Родители ее принадлежали и к старому и к новому веку; прежние понятия, полузабытые, полустертые новыми впечатлениями жизни петербургской, влиянием общества, в котором Николай Петрович по чину своему должен был находиться, проявлялись только в минуты досады, или во время спора; они казались ему сильнейшими аргументами, ибо он помнил их грозное действие на собственный ум, во дни его молодости; Катерина Ивановна была дама не глупая, по словам чиновников, служивших в канцелярии ее мужа; женщина хитрая и лукавая, во мнении других старух; добрая, доверчивая и слепая маменька для бальной молодежи... истинного ее характера я еще не разгадал; описывая, я только буду стараться соединить и выразить вместе все три

вышесказанные мнения... и если выдет портрет похож, то обещаюсь идти пешком в Невский монастырь — слушать певчих!..

Лизавета же Николавна... о! знак восклицания... погодите!.. теперь она вошла в свою спальню и кликнула горничную Марфушу — толстую, рябую девицу!.. дурной знак!.. я бы не желал, чтоб у моей жены или невесты была толстая и рябая горничная!.. терпеть не могу толстых и рябых горничных, с головой, вымазанной чухонским маслом или приглаженной квасом, от которого волосы слипаются и рыжеют, с руками шероховатыми, как вчерашний решетный хлеб, с сонными глазами, с ногами, хлопающими в башмаках без ленточек, тяжелой походкой, и (что всего хуже) четверугольной талией, облепленной пестрым домашним платьем, которое внизу уже, чем вверху... Такая горничная, сидя за работой в задней комнате порядочного дома, подобна крокодилу на дне светлого американского колодца... такая горничная, как сальное пятно, проглядывающее сквозь свежие узоры перекрашенного платья —

приводит ум в печальное сомнение насчет домашнего образа жизни господ... о, любезные друзья, не дай бог вам влюбиться в девушку, у которой такая горничная, если вы разделяете мои мнения, — то очарование ваше погибло навеки.

Лизавета Николавна велела горничной снять с себя чулки и башмаки и расшнуровать корсет, а сама, сев на постель, сбросила небрежно головной убор на туалет, черные ее волосы упали на плечи; — но я не продолжаю описания: никому неинтересно любоваться поблекшими прелестями, худощавой ножкой, жилистой шеєю и сухими плечами, на которых обозначались красные рубцы от узкого платья. Всякий, вероятно, на подобные вещи довольно насмотрелся. Лизавета Николавна легла в постель, поставила возле себя на столик свечу и раскрыла какой-то французский роман — Марфуша вышла... тишина воцарилась в комнате. Книга выпала из рук печальной девушки, она вздохнула и предалась размышлениям.

Конечно, ни одна отцветшая красавица не

поверяла мне дум и чувств, волновавших ее грудь после длинного бала или вечеринки, когда в одинокой своей комнате она припоминала всё свое прошедшее, пересчитывала все любовные объяснения, которые некогда выслушала с притворной холодностию, притворной улыбкой — или с истинным наслаждением и которые не имели для нее других следствий, кроме лишних десяти строк в альбоме или мстительной эпиграммы отвергнутого обожателя, брошенной мимоходом позади ее стула во время длинной мазурки. Но я догадываюсь, что эти размышления должны быть тяжелы, несносны для самолюбия и сердца — если оное налицо имеется, ибо натуральная история нынче обогатилась новым классом очень милых и красивых существ — именно классом женщин без сердца. Чтоб легче угадать, об чем Лизавета Николавна изволила думать, я принужден, к моему великому сожалению, рассказать вам некоторые частности ее жизни... тем более, что для объяснения следующих происшествий это необходимо. Она родилась

в Петербурге — и никогда не выезжала из Петербурга — правда, один раз на два месяца в Ревель на воды... — но вы сами знаете, что Ревель не Россия, и потому направление ее петербургского воспитания не получало никакого изменения; у нас, в России, несколько вывелись из моды французские мадамы, а в Петербурге их вовсе не держат... Агличанку нанимать ее родители были не в силах... агличанки дороги — немку взять было также неловко: бог знает какая попадется: здесь так много всяких... Елизавета Николавна осталась вовсе без мадамы — по-французски она выучилась от маменьки, а больше от гостей, потому что с самого детства она проводила дни свои в гостиной, сидя возле маменьки и слушая всякую всячину... Когда ей исполнилось 13 лет, взяли учителя по билетам: в год она кончила курс французского языка... и началось ее светское воспитание. В комнате ее стоял рояль, но никто не слышал, чтоб она играла... танцевать она выучилась на детских балах... романы она начала читать, как только перестала учить склады... и читала их

удивительно скоро... Между тем отец ее получил порядочное наследство, вслед за ним хорошее место — и стал жить открытее... 15 лет ее стали вывозить, выдавая за 17-летнюю, и до 25 лет условный этот возраст не изменялся... 17 лет точка замерзания: они растягиваются сколько угодно как резинные помочи. Лизавета Николавна была недурна, — и очень интересна: бледность и худоба интересны... потому что француженки бледны, а англичанки худощавы... надобно заметить, что прелесть бледности и худобы существуют только в дамском воображении, и что здешние мужчины только из угождения потакают их мнению, чтоб чем-нибудь отклонить упреки в невежливости и так называемой «казармности».

При первом вступлении Лизаветы Николавны на паркет гостиных у нее нашли<сь> поклонники. Это всё были люди, всегда аплодирующие новому водевилю, скачущие слушать новую певицу, читающие только новые книги. Их заменили другие: эти волочились за нею, чтоб возбудить ревность в остывающей любовнице, или чтоб кольнуть

самолюбие жестокой красоты; — после этих явился третий род обожателей: люди, которые влюблялись от нечего делать, чтоб приятно провести вечер, ибо Лизавета Николавна приобрела навык светского разговора, и была очень любезна, несколько насмешлива, несколько мечтательна... Некоторые из этих волокит влюбились не на шутку и требовали ее руки: но ей хотелось попробовать лестную роль непреклонной... и к тому же они все были прескушные: им отказали... один с отчаяния долго был болен, другие скоро утешились... между тем время шло: она сделалась опытной и бойкой девою: смотрела на всех в лорнет, обращалась очень смело, не краснела от двусмысленной речи или взора — и вокруг нее стали увиваться розовые юноши, пробующие свои силы в словесной перестрелке и посвящавшие ей первые свои опыты страстного красноречия, — увы, на этих было еще меньше надежды, чем на всех прежних; она с досадою и вместе тайным удовольствием убивала их надежды, останавливала едкой насмешкой разливы красноречия — и вскоре

они уверились, что она непобедимая и чудная женщина; вздыхающий рой разлетелся в разные стороны... и наконец для Лизаветы Николавны наступил период самый мучительный и опасный сердцу отцветающей женщины...

Она была в тех летах, когда еще волочиться за нею было не совестно, а влюбиться в нее стало трудно; в тех летах, когда какой-нибудь ветреный или беспечный фронт не почитает уже за грех уверять шутя в глубокой страсти, чтобы после, так для смеху, скомпрометировать девушку в глазах подруг ее, думая этим придать себе более весу... уверить всех, что она от него без памяти, и стараться показать, что он ее жалеет, что он не знает, как от нее отделаться... говорит ей нежности шепотом, а вслух колкости... бедная, предчувствуя, что это ее последний обожатель, без любви, из одного самолюбия старается удержать шалуна как можно долее у ног своих... напрасно: она более и более запутывается, — и наконец... увы... за этим периодом остаются только мечты о муже, каком-нибудь муже... одни мечты.

Лизавета Николавна вступила в этот период, но последний удар нанес ей не беспечный шалун и не бездушный фронт; — вот как это случилось.

Полтора года тому назад Печорин был еще в свете человек — довольно новый: ему надобно было, чтоб поддержать себя, приобрести то, что некоторые называют светскою известностию, т. е. прослыть человеком, который может делать зло, когда ему вздумается; несколько времени он напрасно искал себе пьедестала, вставши на который, он бы мог заставить толпу взглянуть на себя; сделаться любовником известной красавицы было бы слишком трудно для начинающего, а скомпрометировать девушку молодую и невинную он бы не решился, и потому он избрал своим орудием Лизавету Николаевну, которая не была ни то, ни другое. Как быть? в нашем бедном обществе фраза: он погубил столько-то репутаций — значит почти: он выиграл столько-то сражений.

Лизавета Николаевна и он были давно знакомы. Они кланялись. Составив план свой,

Печорин отправился на один бал, где должен был с нею встретиться. Он наблюдал за нею пристально и заметил, что никто ее не пригласил на мазурку: знак был подан музыкантам начинать, кавалеры шумели стульями, устанавливая их в кружок, Лизавета Николаевна отправилась в уборную, чтобы скрыть свою досаду: Печорин дожидался ее у дверей. Когда она возвращалась в залу, начиналась уже вторая фигура: Печорин торопливо подошел к ней.

— Где вы скрывались, — сказал он, — я искал вас везде — приготовил даже стулья: так я сильно надеялся, что вы мне не откажете.

— Как вы самоуверенны.

И неожиданное удовольствие вспыхнуло в ее глазах.

— Однако ж вы меня не накажете слишком строго за эту самоуверенность?

Она не отвечала и последовала за ним.

Разговор их продолжался во время всего танца, блистая шутками, эпиграммами, касаясь до всего, даже любовной метафизики. Печорин не щадил ни одной из ее молодых и

свежих соперниц. За ужином он сел возле нее, разговор подвигался всё далее и далее, так что наконец он чуть-чуть ей не сказал, что обожает ее до безумия (разумеется двусмысленным образом). Огромный шаг был сделан, и он возвратился домой, довольный своим вечером.

Несколько недель сряду после этого они встречались на разных вечерах; разумеется, он неумоимо искал этих встреч, а она по крайней мере их не избегала. Одним словом, он пошел по следам древних волокит и действовал по форме, классически. Скоро все стали замечать их постоянное влечение друг к другу, как явление новое и совершенно оригинальное в нашем холодном обществе. Печорин избегал нескромных вопросов, но зато действовал весьма открыто. Лизавета Николаевна была также этим очень довольна, потому что надеялась завлечь его дальше и дальше и потом, как говорили наши матушки, женить его на себе. Ее родители, не имея еще об нем никакого мнения, так, безо всяких видов пригласили однако же его посещать свой дом, чтоб узнать

его короче. Многие уже стали над ним подсмеиваться, как над будущим женихом, добрые приятели стали уговаривать его, отклонять от безрассудного поступка, который ему не входил и в голову. Из этого всего он заключил, что минута решительного кризиса наступила.

Был блестящий бал у барона ***. Печорин по обыкновению танцевал первую кадрили с Елизаветою Николаевною.

— Как хороша сегодня меньшая Р., — заметила Елизавета Николаевна.

Печорин навел лорнет на молодую красавицу, долго смотрел молча и наконец отвечал:

— Да, она прекрасна. — С каким вкусом перевиты эти пунцовые цветы в ее густых, русых локонах, я непременно дал себе слово танцевать с нею сегодня, именно потому, что она вам нравится; не правда ли, я очень догадлив, когда хочу вам сделать удовольствие.

— О, без сомнения, вы очень любезны, — отвечала она вспыхнув.

В эту минуту музыка остановилась, первая

кадриль кончилась, и Печорин очень вежливо раскланялся. Остальную часть вечера он или танцевал с Р... или стоял возле ее стула, старался говорить как можно больше и казаться как можно довольнее, хотя, между нами, девица Р** была очень проста и почти его не слушала; но так как он говорил очень много, то она заключила, что Печорин — кавалер очень любезный. После мазурки она подошла к Елизавете Николаевне, и та ее спросила с иронической улыбкою:

— Как вам кажется ваш постоянный нынешний кавалер?

— Il est très aimable,[3] — отвечала Р.

Это был жестокий удар для Елизаветы Николаевны, которая почувствовала, что лишается своего последнего кавалера, — ибо остальные молодые люди, видя, что Печорин занимается ею исключительно, совершенно ее оставили.

И точно, с этого дня Печорин стал с нею рассеянее, холоднее, явно старался ей делать те мелкие неприятности, которые замечаются всеми и за которые между тем

невозможно требовать удовлетворения. Говоря с другими девушками, он выражался об ней с оскорбительным сожалением, тогда как она, напротив, вследствие плохого расчета, желая кольнуть его самолюбие, поверяла своим подругам под печатью строжайшей тайны свою чистейшую, искреннейшую любовь. Но напрасно, он только наслаждался излишним торжеством, а она, уверяя других, мало-по-малу сама уверилась, что его точно любит. Родители ее, более проницательные в качестве беспристрастных зрителей, стали ее укорять, говоря: «Вот, матушка, целый год пропустила даром, отказала жениху с 20 тысячами дохода, правда, что он стар и в параличе, — да что нынешние молодые люди! Хорош твой Печорин, мы заранее знали, что он на тебе не женится, да и мать не позволит ему жениться! что ж вышло? он же над тобой и насмехается».

Разумеется, подобные слова не успокоят ни уязвленного самолюбия, ни обманутого сердца. Лизавета Николаевна чувствовала их истину, но эта истина была уже для нее не

нова. Кто долго преследовал какую-нибудь цель, много для нее пожертвовал, тому трудно от нее отступить, а если к этой цели примыкают последние надежды увядающей молодости, то невозможно. В таком положении мы оставили Лизавету Николаевну, приехавшую из театра, лежащую на постеле, с книжкою в руках, — и с мыслями, бродящими в минувшем и в будущем.

Наскучив пробегать глазами десять раз одну и ту же страницу, она нетерпеливо бросила книгу на столик и вдруг заметила письмо с адресом на ее имя и с штемпелем городской почты.

Какое-то внутреннее чувство шептало ей не распечатывать таинственный конверт, но любопытство превозмогло, конверт сорван дрожащими руками, свеча придвинута, и глаза ее жадно пробегают первые строки. Письмо было написано приметно искаженным почерком, как будто боялись, что самые буквы изменят тайне. Вместо подписи имени, внизу рисовалась какая-то египетская каракуля, очень похожая на

пятна, видимые в луне, которым многие простолюдины придают какое-то символическое значение. Вот письмо от слова до слова:

«Милостивая Государыня!

Вы меня не знаете, я вас знаю: мы встречаемся часто, история вашей жизни так же мне знакома, как моя записная книжка, а вы моего имени никогда не слышали. Я принимаю в вас участие именно потому, что вы никогда на меня не обращали внимания, и притом я нынче очень доволен собою и намерен сделать доброе дело: мне известно, что Печорин вам нравится, что вы всячески думаете снова возжечь в нем чувства, которые ему никогда не снились, он с вами пошутил — он недостоин вас: он любит другую, все ваши старания послужат только к вашей гибели, свет и так указывает на вас пальцами, скоро он совсем от вас отворотится. Никакая личная выгода не заставила меня подавать вам такие неосторожные и смелые советы. И чтобы вы более убедились в моем бескорыстии, то я клянусь вам, что вы никогда не узнаете моего

имени.

Вследствие чего остаюсь ваш покорнейший слуга:

Каракула»

От такого письма с другою сделалась бы истерика, но удар, поразив Елизавету Николаевну в глубину сердца, не подействовал на ее нервы, она только побледнела, торопливо сожгла письмо и сдула на пол легкий его пепел.

Потом она погасила свечу и обернулась к стене: казалось, она плакала, но так тихо, так тихо, что если б вы стояли у ее изголовья, то подумали бы, что она спит покойно и безмятежно.

На другой день она встала бледнее обыкновенного, в десять часов вышла в гостиную, разливала сама чай по обыкновению. Когда убрали со стола, отец ее уехал к должности, мать села за работу, она пошла в свою комнату: проходя через залу, ей встретился лакей.

— Куда ты идешь? — спросила она.

— Доложить-с.

— О ком?

— Вот тот-с... офицер... Господин Печорин...

— Где он?

— У крыльца остановился.

Лизавета Николаевна покраснела, потом снова побледнела и потом отрывисто сказала лакею:

— Скажи ему, что дома никого нет. И когда он еще приедет, — прибавила она, как бы с трудом выговаривая последнюю фразу, — то не принимать!..

Лакей поклонился и ушел, а она опрометью бросилась в свою комнату.

ГЛАВА IV

Получив такой решительный отказ, Печорин, как вы сами можете догадаться, не удивился: он приготовился к такой развязке и даже желал ее. Он отправился на Морскую, сани его быстро скользили по сыпучему снегу: утро было туманное и обещало близкую оттепель. Многие жители Петербурга, прошедшие детство в другом климате, подвержены странному влиянию здешнего неба. Какое-то печальное равнодушие, подобное тому, с каким наше северное солнце отворачивается от неблагоприятной здешней земли, закрадывается в душу, приводит в оцепенение все жизненные органы. В эту минуту сердце неспособно к энтузиазму, ум к размышлению. В подобном расположении находился Печорин. Неожиданный успех увенчал его легкомысленное предприятие, и он даже не обрадовался. Через несколько минут он должен быть увидеться с женщиною, которая была постоянно его мечтою в продолжение нескольких лет, с

которую он был связан прошедшим, для которой был готов отдать свою будущность — и сердце его не трепетало от нетерпения, страха, надежды. Какое-то болезненное замирание, какая-то мутность и неподвижность мыслей, которые подобно тяжелым облакам осаждали ум его, предвещали одни близкую бурю душевную. Вспоминая прежнюю пылкость, он внутренне досадовал на теперешнее свое спокойствие.

Вот сани его остановились перед одним домом; он вышел и взялся за ручку двери, но прежде чем он отворил ее, минувшее как сон проскользнуло в его воображении, и различные чувства внезапно, шумно пробудились в душе его. Он сам испугался громкого биения сердца своего, как пугаются сонные жители города при звуке ночного набата. Какие были его намерения, опасения и надежды, известно только богу, но, по видимому, он готов был сделать решительный шаг, дать новое направление своей жизни. Наконец дверь отворилась, и он медленно взошел по широкой лестнице. На вопрос швейцара, кого ему угодно, он отвечал

вопросом: «дома ли княгиня Вера Дмитриевна?»

— Князь Степан Степанович у себя-с.

— А княгиня? — повторил нетерпеливо Печорин.

— Княгиня также-с.

Печорин сказал швейцару свою фамилию, и тот пошел доложить.

Сквозь полураскрытую в залу дверь Печорин бросил любопытный взгляд, стараясь сколько-нибудь по убранству комнат угадать хотя слабый оттенок семейной жизни хозяев, но увы! в столице все залы схожи между собою, как все улыбки и все приветствия. Один только кабинет иногда может разоблачить домашние тайны, но кабинет так же непроницаем для посторонних посетителей, как сердце; однако же краткий разговор с швейцаром позволил догадаться Печорину, что главное лицо в доме был князь. «Странно, — подумал он, — она вышла замуж за старого, неприятного и обыкновенного человека, вероятно для того, чтоб делать свою волю, и что же, если я отгадал правду, если она добровольно

переменила одно рабство на другое, то какая же у нее была цель? Какая причина?.. но нет, любить она его не может, за это я ручаюсь головой».

В эту минуту швейцар взошел и торжественно произнес:

— Пожалуйте, князь в гостиной.

Медленными шагами Печорин прошел через зал, взор его затуманился, кровь прилила к сердцу. Он чувствовал, что побледнел, когда перешел через порог гостиной. Молодая женщина в утреннем атласном капоте и блондовом чепце сидела небрежно на диване; возле нее на креслах в мундирном фраке сидел какой-то толстый, лысый господин с огромными глазами, налитыми кровью, и бесконечно широкой улыбкой; у окна стоял другой в сертуке, довольно сухощавый, с волосами, обстриженными под гребенку, с обвислыми щеками и довольно неблагородным выражением лица, он просматривал газеты и даже не обернулся, когда взошел молодой офицер. Это был сам кн<язь> Степан Степанович.

Молодая женщина поспешно встала, обратясь к Печорину с каким-то очень неясным приветствием, потом подошла к князю и сказала ему:

— Mon ami, вот господин Печорин, он старинный знакомый нашего семейства... Monsieur Печорин, рекомендую вам моего мужа.

Князь бросил газеты на окно, раскланялся, хотел что-то сказать, но из уст его вышли только отрывистые слова:

— Конечно... мне очень приятно... семейство жены моей... что вы так любезны... я поставил себе за долг... ваша матушка такая почтенная дама, — я имел честь быть вчерась у нее с женой.

— Матушка с сестрой хотела сама быть у вас сегодня, но она немного нездорова и поручила мне засвидетельствовать вам свое почтение.

Печорин сам не знал, что говорил. Опомнившись и думая, что он сказал глупость, он принял какой-то холодный принужденный вид. Княгине показалось, вероятно, что этой фразой он хотел

объяснить свой визит, как будто бы невольный. Выражение лица ее также сделалось так же принужденно. Она подозревала намерение упрекнуть, щеки ее готовы были вспыхнуть, но она быстро отвернулась, сказала что-то толстому господину, тот захохотал и громко произнес: «о, да!».— Потом она пригласила Печорина сесть, заняла сама прежнее место, а князь взял опять в руки свои газеты.

Княгиня Вера Дмитриевна была женщина 22 лет, среднего женского роста, блондинка с черными глазами, что придавало лицу ее какую-то оригинальную прелесть и таким образом, резко отличая ее от других женщин, уничтожало сравнения, которые, может быть, были бы не в ее пользу. Она была не красавица, хотя черты ее были довольно правильны. Овал лица совершенно аттический и прозрачность кожи необыкновенна. Бесперывная изменчивость ее физиономии, по-видимому, несообразная с чертами несколько резкими, мешала ей нравиться всем и нравиться во всякое время, но зато человек, привыкший следить эти

мгновенные перемены, мог бы открыть в них редкую пылкость души и постоянную раздражительность нерв, обещающую столько наслаждений догадливому любовнику. Ее стан был гибок, движения медленны, походка ровная. Видя ее в первый раз, вы бы сказали, если вы опытный наблюдатель, что это женщина с характером твердым, решительным, холодным, верующая в собственное убеждение, готовая принести счастье в жертву правилам, но не молве. Увидавши же ее в минуту страсти и волнения, вы сказали бы совсем другое — или, скорее, не знали бы вовсе, что сказать.

Несколько минут Печорин и она сидели друг против друга в молчании затруднительном для обоих. Толстый господин, который был по какому-то случаю барон, воспользовался этим промежутком времени, чтоб объяснить подробно свои родственные связи с прусским посланником. Княгиня разными вопросами очень ловко заставляла барона еще более растягивать речь свою; Жорж, пристально устремив глаза на Веру Дмитриевну, старался, но тщетно,

угадать ее тайные мысли; он видел ясно, что она не в своей тарелке, озабочена, взволнована. Ее глаза то тускнели, то блистали, губы то улыбались, то сжимались; щеки краснели и бледнели попеременно: но какая причина этому беспокойству?.. может быть, домашняя сцена, до него случившаяся, потому что князь явно был не в духе, может быть, радость и смущение воскресающей, или только вновь пробуждающейся любви к нему, может быть, неприятное чувство при встрече с человеком, который знал некоторые тайны ее жизни и сердца, который имел право и, может быть, готов был ее упрекнуть...

Печорин, не привыкший толковать женские взгляды и чувства в свою пользу — остановился на последнем предположении... из гордости он решился показать, что, подобно ей, забыл прошедшее и радуется ее счастью... Но невольно в его словах звучало оскорбленное самолюбие; — когда он заговорил, то княгиня вдруг отвернулась от барона... и тот остался с отверстым ртом, готовясь произнести самое важное и

убедительнейшее заключение своих доказательств.

— Княгиня, — сказал Жорж... извините, я еще не поздравил вас... с княжеским титулом!.. Поверьте однако, что я с этим намерением спешил иметь честь вас увидеть... но когда вошел сюда... то происшедшая в вас перемена так меня поразила, что признаюсь... забыл долг вежливости.

— Я постарела, не правда ли? — отвечала Вера, наклонив головку к правому плечу.

— О! вы шутите! разве в счастья стареют... напротив, вы пополнели, вы...

— Конечно, я очень счастлива, — прервала его княгиня.

— Это молва всеобщая: многие молодые девушки вам завидуют... Впрочем вы так благоразумны, что не могли не сделать такого достойного выбора... весь свет восхищается любезностью, умом и талантами вашего супруга... (барон сделал утвердительный знак головой), — княгиня чуть-чуть не улыбнулась, потом вдруг досада изобразилась на ее лице.

— Я вам отплачу комплиментом за комплимент, monsieur Печорин... вы также переменялись к лучшему.

— Как быть? время всеильно... даже наши одежды, подобно нам самим, подвержены чудным изменениям — вы теперь носите блондовый чепчик, я вместо фрака московского недоросля или студенческого сертука, ношу мундир с эполетами... Вероятно, от этого я имею счастье вам нравиться больше, чем прежде... вы теперь так привыкли к блеску!

Княгиня хотела отомстить за эпиграмму:

— Прекрасно! — воскликнула она: вы отгадали... а точно, нам бедным москвитянкам гвардейский мундир истинная диковинка!.. она насмешливо улыбнулась, барон захохотал, — и Печорин на него взбесился.

— У вас такой усердный союзник, княгиня, — сказал он, — что я должен признаться побежденным. Я уверен, что барон при данном знаке готов меня сокрушить всей своей тяжестью.

Барон плохо понимал по-русски, хотя

родился в России; он захохотал пуще прежнего, думая, что это комплимент относящийся к нему вместе с Верою Дмитриевной. — Печорин пожал плечами; и разговор снова остановился. — К счастью, князь подошел, преважно держа в руке газеты.

— Вот это до тебя касается, — сказал он жене, — новый магазин на днях открыт на Невском. Я покажу вам, — сказал он, обращаясь к гостям, — петербургский гостинец, который я вчера купил жене: все говорят, что серьги самые модные, а жена говорит, что нет, как будут по вашему вкусу?

Он пошел в другую комнату и принес сафьянную коробочку. Часто повторяемое князем слово жена как-то грубо и неприятно отзывалось в ушах Печорина; он с первого слова узнал в князе человека недалекого, а теперь убедился, что он даже человек не светский. Серьги переходили из рук в руки, барон произнес над ними несколько протяжных восклицаний, Печорин после него стал машинально их рассматривать.

— А как вы думаете, — спросил князь

Степан> Степанович, спрятавшись в галстух и одной рукой вытаскивая накрахмаленный воротничок, — сколько я за них заплатил, отгадайте!

Серьги по большей мере стоили 80 рублей, а были заплочены 75. Печорин нарочно сказал 150. Это озадачило князя. Он ничего не отвечал, стыдясь сказать правду, и сел на канапе, очень немилостиво поглядывая на Печорина. Разговор сделался общим разменом городских новостей, московских известий: князь, несколько развеселившись, объявил очень откровенно, что если б не тяжёбое дело, то никак бы не оставил Москвы и Английского клуба, прибавляя, что здешний Английский клуб ничто перед московским. Наконец Печорин встал, раскланялся и дошел уже до двери, как вдруг княгиня вскочила с своего места и убедительно просила его не позабыть поцеловать за нее милую Вареньку сто раз, тысячу раз. Печорину хотелось ей заметить, что он не может передавать словесных поцелуев, но ему было не до шутки, и он очень важно опять поклонился. Княгиня

улыбнулась ему той ничего не выражающей улыбкою, которая разливается на устах танцовщицы, оканчивающей пируэт.

С горьким предчувствием он вышел из комнаты: пройдя залу, обернулся, княгиня стояла в дверях, неподвижно смотрела ему вслед: заметив его движение, она исчезла.

— Странно, — подумал Печорин, садясь в сани, — было время, когда я читал на лице ее все движенья мысли так же безошибочно, как собственную рукопись, а теперь я ее не понимаю, совершенно не понимаю.

ГЛАВА V

До 19-летнего возраста Печорин жил в Москве. С детских лет он таскался из одного пансиона в другой и наконец увенчал свои странствования вступлением в университет, согласно воле своей премудрой маменьки. Он получил такую охоту к перемене мест, что если бы жил в Германии, то сделался бы странствующим студентом. Но скажите ради бога, какая есть возможность в России сделаться бродягой повелителю 3 т<ысяч> душ и племяннику 20 т<ысяч> московских тетушек. Итак, все его путешествия ограничивались поездками с толпою таких же негодяев, как он, в Петровский, в Сокольники и Марьину рощу. Можете вообразить, что они не брали с собою тетрадей и книг, чтоб не казаться педантами. Приятели Печорина, которых число было впрочем не очень велико, были всё молодые люди, которые встречались с ним в обществе, ибо и в то время студенты были почти единственными кавалерами московских красавиц, вздыхавших невольно по эполетам

и аксельбантам, не догадываясь, что в наш век эти блестящие вывески утратили свое прежнее значение.

Печорин с товарищи являлся также на всех гуляньях. Держась под руки, они прохаживались между вереницами карет к великому соблазну квартальных. Встретив одного из этих молодых людей, можно было, закрывши глаза, держать пари, что сейчас явятся и остальные. В Москве, где прозвания еще в моде, прозвали их *la bande joyeuse*. [4]

Приближалось для Печорина время экзамена: он в продолжение года почти не ходил на лекции и намеревался теперь пожертвовать несколько ночей науке и одним прыжком догнать товарищей: вдруг явилось обстоятельство, которое помешало ему исполнить это геройское намерение. У матери Печорина Татьяны Петровны бывали детские вечера для маленькой дочери: на эти вечера съезжались и взрослые барышни и переспелые девы, жадные до всяких возможных вечеров. Дети ложились спать в 10 часов, их сменяли на паркете большие. На эти вечера являлись часто отец и дочь Р-вы.

Они были старинные знакомые Татьяны Петровны и даже несколько ей сродни. Дочь этого госпо<дина> Р* называлась тогда просто Верочка. Жорж, привыкнув видеться с нею часто, не находил в ней ничего особенного, она же избегала его разговора. Раз собралась большая компания ехать в Симонов монастырь ко всеобщей молитве, слушать певчих и гулять. Это было весною: уселись в длинные линии, запряженные каждая в 6 лошадей, и тронулись с Арбата веселым караваном. Солнце склонялось к Воробьевым горам, и вечер был в самом деле прекрасен.

По какому-то случаю Жоржу пришлось сидеть рядом с Верочкою, он этим был сначала недоволен: ее 17-летняя свежесть и скромность казались ему верными признаками холодности и чересчур приторной сердечной невинности: кто из нас в 19 лет не бросался очертя голову вослед отцветающей кокетке, которых слова и взгляды полны обещаний, и души которых подобны выкрашенным гробам притчи. Наружность их — блеск очаровательный, внутри смерть и прах.

Выехав уже за город, когда растворенный воздух вечера освежил веселых путешественников, Жорж разговорился с своей соседкою. Разговор ее был прост, жив и довольно свободен. Она была несколько мечтательна, но не старалась этого выказывать, напротив, стыдилась этого, как слабости. Суждения Жоржа в то время были резки, полны противуречий, хотя оригинальны, как вообще суждения молодых людей, воспитанных в Москве и привыкших без принуждения постороннего развивать свои мысли.

Наконец приехали в монастырь. До всенощной ходили осматривать стены, кладбище; лазили на площадку западной башни, ту самую, откуда в древние времена наши предки следили движения, и последний Новик открыл так поздно имя свое и судьбу свою и свое изгнанническое имя. Жорж не отставал от Верочки, потому что неловко было бы уйти, не кончив разговора, а разговор был такого рода, что мог продолжиться до бесконечности. Он и продолжался всё время всенощной, исключая

тех минут, когда дивный хор монахов и голос отца Виктора погружал их в безмолвное умиление. Но зато после этих минут разгоряченное воображение и чувства, взволнованные звуками, давали новую пищу для мыслей и слов. После всеобщей опять гулялки и возвратились в город тем же порядком, очень поздно. Жорж весь следующий день думал об этом вечере, потом поехал к Р-вым, чтоб поговорить об нем и передать свои впечатления той, с которой он их разделял. Визиты делались чаще и продолжительнее, по короткости обоих домов они не могли обратить на себя никакого подозрения; так прошел целый месяц, и они убедились оба, что влюблены друг в друга до безумия. В их лета, когда страсть есть наслаждение, без примеси забот, страха и раскаяния, очень легко убедиться во всем. У Жоржа была богатая тетушка, которая в той же степени была родня и Р-вым. Тетушка пригласила оба семейства погостить к себе в Подмосковную недели на две, дом у нее был огромный, сады большие, одним словом, все удобства. Частые прогулки

сблизили еще более Жоржа с Верочкой; несмотря на толпу мадамов и детей тетушки, они как-то всегда находили средство быть вдвоем: средство впрочем очень легкое, если обоим этого хочется.

Между тем в университете шел экзамен. Жорж туда не явился: разумеется, он не получил аттестата, но о будущем он не заботился, и уверил мать, что экзамен отложен еще на три недели, и что он всё знает. Вечерние прогулки имели необходимым следствием объяснение, потом клятвы в верности, наконец, когда двухнедельный срок кончился, надобно было возвращаться в Москву. Накануне рокового дня (это было вечером) они стояли вдвоем на балконе, какой-то невидимый демон сблизил их уста и руки в безмолвное пожатие, в безмолвный поцелуй!.. Они испугались самих себя, и хотя Жорж рано с помощью товарищей вступил на соблазнительное поприще разврата... но честь невинной девушки была еще для него святыней. На другой день, садясь в экипажи, они раскланялись по-прежнему, очень учтиво, но

Верочка покраснела, и глаза ее блистали.

Обман Жоржа открылся, как скоро приехали в Москву, отчаяние Татьяны Петровны было ужасно, брань ее неистощима. Жорж с покорностью и молча выслушал всё, как стоик; но гроза невидимая сбиралась над ним. В комитете дядюшек и тетюшек было положено, что его надобно отправить в Петербург и отдать в Юнкерскую школу: другого спасения они для него не видали. «Там, — говорили они, — его прошколят и выучат дисциплине».

В это время открылась Польская кампания, вся молодежь спешила определяться в полки, вступать в школу было для Жоржа невыгодно, потому что юнкера 2 класса не должны были идти в поход. Он почти на коленях выпросил у матери позволение вступить в Н... гусарский полк, стоявший недалеко от Москвы. После многого плаканья и оханья получил он ее благословение, но самое трудное оставалось ему еще сделать: надобно было объявить об этом Верочке. Он был так еще невинен душою, что боялся убить ее неожиданным

известием. Однако ж она выслушала его молча и устремила на него укоризненный взгляд, не веря, чтоб какие бы то ни было обстоятельства могли его заставить разлучиться с нею: клятва и обещания ее успокоили.

Через несколько дней Жорж приехал к Р-вым, чтоб окончательно проститься. Верочка была очень бледна, он посидел недолго в гостиной, когда же вышел, то она, пробежав через другие двери, встретила его в зале. Она сама схватила его за руку, крепко ее сжала и произнесла неверным голосом: «Я никогда не буду принадлежать другому». — Бедная, она дрожала всем телом. Эти ощущения были для нее так новы, она так боялась потерять друга, она так была уверена в собственном сердце. Напечатлев жаркий поцелуй на холодном девственном челе ее, Жорж посадил ее на стул, опрометью сбежал с лестницы и поскакал домой. Вечером пришел лакей от Р. к Татьяне Петровне просить склянку с какими-то каплями и спирту, потому что, дескать, барышня очень нездорова и раза три была без памяти. Это был ужасный удар для

Жоржа, он целую ночь не спал, чем свет сел в дорожную коляску и отправился в полк.

До сих пор, любезные читатели, вы видели, что любовь моих героев не выходила из общих правил всех романов и всякой начинающейся любви. Но зато впоследствии... о! впоследствии вы увидите и услышите чудные вещи.

Печорин в продолжение кампании отличался, как отличается всякий русский офицер, дрался храбро, как всякий русский солдат, любезничал с многими паннами, но минуты последнего расставанья и милый образ Верочки постоянно тревожили его воображение. Чудное дело! Он уехал с твердым намерением ее забыть, а вышло наоборот (что почти всегда и выходит в таких случаях). Впрочем Печорин имел самый несчастный нрав: впечатления, сначала легкие, постепенно врезывались в его ум все глубже и глубже, так что впоследствии эта любовь приобрела над его сердцем право давности, священнейшее из всех прав человечества.

После взятия Варшавы он был переведен

в гвардию, мать его с сестрою переехали жить в Петербург, Варенька привезла ему поклон от своей милой Верочки, как она ее называла, — ничего больше как поклон. Печорина это огорчило — он тогда еще не понимал женщин. Тайная досада была одна из причин, по которым он стал волочиться за Лизаветой Николаевной, слухи об этом, вероятно, дошли до Верочки. Через полтора года он узнал, что она вышла замуж; через два года приехала в Петербург уже не Верочка, а княгиня Лиговская и князь Степан Степ<анович>.

ГЛАВА VI

Тут, кажется, мы остановились в предыдущей главе. Дни через три после того, как Печорин был у князя, Татьяна Петровна пригласила несколько человек знакомых и родных отобедать. Степан Степанович с супругою был, разумеется, в числе.

Печорин сидел в своем кабинете и хотел уже одеваться, чтоб выдти в гостиную, когда вошел к нему артиллерийский офицер.

— А, Браницкий, — воскликнул Печорин, — я очень рад, что ты так кстати заехал, ты непременно будешь у нас обедать. Вообрази, у нас ныне полон дом молодых девушек, а я один, отдан им на жертву, ты всех их знаешь, сделай одолжение останься обедать!

— Ты так убедительно просишь, — отвечал Браницкий, — как будто предчувствуешь отказ.

— Нет, ты не смеешь отказать, — сказал Печорин, он кликнул человека и велел отпустить сани Браницкого домой.

Дальнейший разговор их я не передаю, потому что он был бессвязен и пуст, как разговоры всех молодых людей, которым нечего делать. И в самом деле, скажите, об чем могут говорить молодые люди? запас новостей скоро истощается, в политику благоразумие мешает пускаться, об службе и так слишком много толкуют на службе, а женщины в наш варварский век утратили вполовину прежнее всеобщее свое влияние. Влюбиться кажется уже стыдно, говорить об этом смешно.

Когда несколько гостей съехалось, Печорин и Браницкий вошли в гостиную. Там на 3-х столах играли в вист. Покуда маменьки считали козыри, дочки, усевшись вокруг небольшого столика, разговаривали о последнем бале, о новых модах. Офицеры подошли к ним, Браницкий искусно оживил непринужденной болтовней их небольшой кружок, Печорин был рассеян. Он давно замечал, что Браницкий ухаживал за его сестрой и, не входя в рассмотрение дальнейших следствий, не тревожил приятеля наблюдением, а сестру

нескромными вопросами. Вареньке казалось очень приятно, что такой ловкий молодой человек приметно отличает ее от других, ее, которая даже еще не выезжает.

Мало-по-малу гости съезжались. Кн<язь> Лиговский и княгиня приехали одни из последних. Варенька бросилась навстречу своей старой приятельнице, княгиня поцеловала ее с видом покровительства. Вскоре сели за стол.

Столовая была роскошно убранная комната, увешанная картинами в огромных золотых рамах: их темная и старинная живопись находилась в резкой противоположности с украшениями комнаты, легкими, как всё, что в новейшем вкусе. Действующие лица этих картин, — одни полунагие, другие живописно завернутые в греческие мантии или одетые в испанские костюмы, в широкополых шляпах с перьями, с прорезными рукавами, пышными манжетами. Брошенные на этот холст рукою художника в самые блестящие минуты их мифологической или феодальной жизни, казалось, строго смотрели на

действующих лиц этой комнаты, озаренных сотнею свеч, не помышляющих о будущем, еще менее о прошедшем, съехавшихся на пышный обед, не столько для того, чтобы насладиться дарами роскоши, но одни, чтоб удовлетворить тщеславию ума, тщеславию богатства, другие из любопытства, из приличий, или для каких-либо других сокровенных целей. В одежде этих людей, так чинно сидевших вокруг длинного стола, уставленного серебром и фарфором, так же как в их понятиях, были перемешаны все века. В одеждах их встречались глубочайшая древность с самой последней выдумкой парижской модистки, греческие прически, увитые гирляндами из поддельных цветов, готические серьги, еврейские тюрбаны, далее волосы, вздернутые кверху *à la chinoise*,^[5] букли *à la Sévigné*,^[6] пышные платья наподобие *фижм*, рукава, чрезвычайно широкие или чрезвычайно узкие. У мужчин прически *à la jeune France*,^[7] *à la russe*,^[8] *à la moyen âge*,^[9] *à la Titus*,^[10] гладкие подбородки, усы, испаньолки, бакенбарды и даже бороды, кстати было бы тут привести

стих Пушкина: «какая смесь одежд и лиц!» Понятия же этого общества были такая путаница, которую я не берусь объяснить.

Печорину пришлось сидеть наискось противу княгини Веры Дмитриевны, сосед его по левую руку был какой-то рыжий господин, увешанный крестами, который ездил к ним в дом только на званые обеды, по правую же сторону Печорина сидела дама лет 30-ти, чрезвычайно свежая и моложавая, в малиновом токе, с перьями, и с гордым видом, потому что она слыла неприступною добродетелью. Из этого мы видим, что Печорин, как хозяин, избрал самое дурное место за столом.

Возле Веры Дмитриевны сидела по одну сторону старушка, разряженная, как кукла, с седыми бровями и черными пуклями, по другую дипломат, длинный и бледный, причесанный *à la russe* и говоривший по-русски хуже всякого француза. После 2-го блюда разговор начал оживляться.

— Так как вы недавно в Петербурге, — говорил дипломат княгине, — то, вероятно, не успели еще вкусить и постигнуть все

прелести здешней жизни. Эти здания, которые с первого взгляда вас только удивляют как всё великое, со временем сделаются для вас бесценны, когда вы вспомните, что здесь развилось и выросло наше просвещение, и когда увидите, что оно в них уживается легко и приятно. Всякий русский должен любить Петербург: здесь всё, что есть лучшего русской молодежи, как бы нарочно собралось, чтоб подать дружескую руку Европе. Москва только великолепный памятник, пышная и безмолвная гробница минувшего, здесь жизнь, здесь наши надежды...

Так высокопарно и мудрено говорил худощавый дипломат, который имел претензию быть великим патриотом. Кн<ягиня> улыбнулась и отвечала рассеянно:

— Может быть, со временем я полюблю и Петербург, но мы, женщины, так легко предаемся привычкам сердца и так мало думаем, к сожалению, о всеобщем просвещении, о славе государства! Я люблю Москву. С воспоминанием об ней связана память о таком счастливом времени! А здесь,

здесь всё так холодно, так мертво... О, это не мое мнение; это мнение здешних жителей. — Говорят, что въехавши раз в петербургскую заставу, люди меняются совершенно.

Эти слова она сказала, улыбаясь дипломату и взглянув на Печорина.

Дипломат взбеленился:

— Какие ужасные клеветы про наш милый город, — воскликнул он, — а всё это старая сплетница Москва, которая из зависти клеветает на молодую свою соперницу.

При слове «старая сплетница» разряженная старушка затрясла головой и чуть-чуть не подавилась спаржею.

— Чтоб решить наш спор, — продолжал дипломат, — выберемте посредника, княгиня: вот хоть Григория Александровича, он очень прилежно слушал наш разговор. Как вы думаете об этом? Monsieur Печорин, скажите по совести и не принесите меня в жертву учтивости. Вы одобряете мой выбор, княгиня?

— Вы выбрали судью довольно строгого, — отвечала она.

— Как быть, наш брат всегда наблюдает свои выгоды, — возразил дипломат с

самодовольной улыбкою. Monsieur Печорин, извольте же решить.

— Мне очень жаль, — сказал Печорин, — что вы ошиблись в своем выборе. Из всего вашего спора я слышал только то, что сказала княгиня.

Лицо дипломата вытянулось.

— Однако ж, — сказал он, — Москве или Петербургу отдадите вы преимущество?

— Москва моя родина, — отвечал Печорин, стараясь отделаться.

— Однако ж которая?.. — Дипломат настаивал с упорством.

— Я думаю, — прервал его Печорин, — что ни здания, ни просвещение, ни старина не имеют влияния на счастье и веселость. А меняются люди за петербургской заставой и за московским шлагбаумом потому, что если б люди не менялись, было бы очень скучно.

— После такого решения, княгиня, — сказал дипломат, — я уступаю свое дипломатическое звание господину Печорину. Он увернулся от решительного ответа, как Талейран или Меттерних.

— Григорий Александрович, — возразила

княгиня, — не увлекается страстью или пристрастием, он следует одному холодному рассудку.

— Это правда, — отвечал Печорин, — я теперь стал взвешивать слова свои и рассчитывать поступки, следуя примеру других. Когда я увлекался чувством и воображением, надо мною смеялись и пользовались моим простосердечием, но кто же в своей жизни не делал глупостей! И кто не раскаивался! Теперь по чести я готов пожертвовать самую чистейшую, самую воздушную любовь для 3 т<ысяч> душ с винокуренным заводом и для какого-нибудь графского герба на дверцах кареты! Надобно пользоваться случаем, такие вещи не падают с неба! Не правда ли? Этот неожиданный вопрос был сделан даме в малиновом берете.

Молчаливая добродетель пробудилась при этом неожиданном вопросе, и страусовые перья заколышались на берете. Она не могла тотчас ответить, потому что ее невинные зубки жевали кусок рябчика с самым добродетельным старанием: все с нетерпением молча ожидали ее ответа.

Наконец она открыла уста и важно молвила:

— Ко мне ли ваш вопрос относится?

— Если вы позволите, — отвечал Печорин.

— Не хотите ли вы разделить со мною вашу роль посредника и судьи?

— Я б желал вам передать ее совсем.

— Ах, избавьте!

В эту минуту ей подали какое-то жирное блюдо, она положила себе на тарелку и продолжала:

— Вот, адресуйтесь к княгине, она, я думаю, гораздо лучше может судить о любви и об графском или о княжеском титуле.

— Я бы желал слышать ваше мнение, — сказал Печорин, — и решился победить вашу скромность упрямством.

— Вы не первые, и вам это не удастся, — сказала она с презрительной улыбкой. — Притом я не имею никакого мнения о любви.

— Помилуйте! в ваши лета не иметь никакого мнения о таком важном предмете для всякой женщины.

Добродетель обиделась.

— То есть, я слишком стара, — воскликнула она покраснев.

— Напротив, я хотел сказать, что вы еще так молоды.

— Слава богу, я уж не ребенок... вы оправдались очень неудачно.

— Что делать! — я вижу, что увеличил единицею несметное число несчастных, которые вам напрасно стараются понравиться...

Она от него отвернулась, а он чуть не засмеялся вслух.

— Кто эта дама? — шепотом спросил у него рыжий господин с крестами.

— Баронесса Штраль, — отвечал Печорин.

— Аа! — сделал рыжий господин.

— Вы, конечно, об ней много слышали?

— Нет-с, ничего формально.

— Она уморила двух мужей, — продолжал Печорин, — теперь за третьим, который верно ее переживет.

— Ого! — сказал рыжий господин и продолжал уписывать соус, унизанный трюфелями.

Таким образом разговор прекратился, но дипломат взял на себя труд возобновить его.

— Если вы любите искусство, — сказал он,

обращаясь к княгине, — то я могу вам сказать весьма приятную новость, картина Брюлова: «Последний день Помпеи» едет в Петербург. Про нее кричала вся Италия, французы ее разбранили. Теперь любопытно знать, куда склонится русская публика, на сторону истинного вкуса или на сторону моды.

Княгиня ничего не отвечала, она была в рассеянности — глаза ее бродили без цели вдоль по стенам комнаты, и слово «картина» только заставило их остановиться на изображении какой-то испанской сцены, висевшем противу нее. Это была старинная картина, довольно посредственная, но получившая ценность оттого, что краски ее полиняли и лак растрескался. На ней были изображены три фигуры: старый и седой мужчина, сидя на бархатных креслах, обнимал одною рукою молодую женщину, в другой держал он бокал с вином. Он приближал свои румяные губы к нежной щеке этой женщины и проливал вино ей на платье. Она, как бы нехотя повинувшись его грубым ласкам, перегнувшись через ручку кресел и облокотясь на его плечо,

отворачивалась в сторону, прижимая палец к устам и устремив глаза на полуотворенную дверь, из-за которой во мраке сверкали два яркие глаза и кинжал.

Княгиня несколько минут со вниманием смотрела на эту картину и наконец попросила дипломата объяснить ее содержание.

Дипломат вынул из-за галстуха лорнет, прищурился, наводил его в разных направлениях на темный холст и заключил тем, что это должна быть копия с Рембранта или Мюрилла.

— Впрочем, — прибавил он, — хозяин ее должен лучше знать, что она изображает.

— Я не хочу вторично затруднять Григория Александровича разрешениями вопросов, — сказала Вера Дмитриевна и опять устремила глаза на картину.

— Сюжет ее очень прост, — сказал Печорин, не дожидаясь, и чтобы его просили, — здесь изображена женщина, которая оставила и обманула любовника для того, чтобы удобнее обманывать богатого и глупого старика. В эту минуту она, кажется,

что-то у него выпрашивает и удерживает бешенство любовника ложными обещаниями. Когда она выманит искусственным поцелуем всё, что ей хочется, она сама откроет дверь и будет хладнокровною свидетельницею убийства.

— Ах, это ужасно! — воскликнула княгиня.

— Может быть я ошибаюсь, дав такой смысл этому изображению, — продолжал Печорин, — мое истолкование совершенно произвольное.

— Неужели вы думаете, что подобное коварство может существовать в сердце женщины?

— Княгиня, — отвечал Печорин сухо, — я прежде имел глупость думать, что можно понимать женское сердце. Последние случаи моей жизни меня убедили в противном, и поэтому я не могу решительно ответить на ваш вопрос.

Княгиня покраснела, дипломат обратил на нее испытующий взор и стал что-то чертить вилкою на дне своей тарелки. Дама в малиновом берете была как на иголках, слыша такие ужасы, и старалась отодвинуть

свой стул от Печорина, а рыжий господин с крестами значительно улыбнулся и проглотил три трюфели разом.

Остальное время обеда дипломат и Печорин молчали, княгиня завела разговор с старушкою, добродетель горячо об чем-то спорила с своей соседкой с правой стороны, рыжий господин ел.

За десертом, когда подали шампанское, Печорин, подняв бокал, оборотился к княгине:

— Так как я не имел счастья быть на вашей свадьбе, то позвольте поздравить вас теперь.

Она посмотрела на него с удивлением и ничего не отвечала. Тайное страдание изображалось на ее лице, столь изменчивом, — рука ее, державшая стакан с водою, дрожала... Печорин всё это видел, и нечто похожее на раскаяние закралось в грудь его: за что он ее мучил? — с какою целью? — какую пользу могло ему принести это мелочное мщение?.. — Он себе в этом не мог дать подробного отчета.

Вскоре стулья зашумели; встали изо стола

и пошли в приемные комнаты... Лакеи на серебряных подносах стали разносить кофе, некоторые мужчины, не игравшие в вист — и в их числе князь Степан Степ<анович>, пошли в кабинет Печорина курить трубки, а княгиня под предлогом, что у нее развились локоны, удалилась в комнату Вареньки.

Она притворила за собою двери, бросилась в широкие кресла; неизъяснимое чувство стеснило ее грудь, слезы набежали на ресницы, стали капать чаще и чаще на ее разгоревшиеся ланиты, и она плакала, горько плакала, покуда ей не пришло в мысль, что с красными глазами неловко будет показаться в гостиную. Тогда она встала, подошла к зеркалу, осушила глаза, натерла виски одеколоном и духами, которые в цветных и граненых скляночках стояли на туалете. По временам она еще всхлипывала, и грудь ее подымалась высоко, но это были последние волны, забытые на гладком море пролетевшим ураганом.

Об чем же она плакала, спрашиваете вы, и я вас спрошу, об чем женщины не плачут? слезы их оружие нападательное и

оборонительное. Досада, радость, бессильная ненависть, бессильная любовь, имеют у них одно выражение: Вера Дмитриевна сама не могла дать отчета, какое из этих чувств было главною причиною ее слез. Слова Печорина глубоко ее оскорбили; но странно, она его за это не возненавидела. Может быть, если б в его упреке проглядывало сожаление о минувшем, желание ей снова нравиться, она бы сумела отвечать ему колкой насмешкой в и равнодушием, но, казалось, в нем было оскорблено одно самолюбие, а не сердце, — самая слабая часть мужчины, подобная пятке Ахиллеса, и по этой причине оно в этом сражении оставалось вне ее выстрелов. Казалось, Печорин гордо вызывал на бой ее ненависть, чтобы увериться, так же ли она будет недолго временна, как любовь ее, — и он достиг своей цели. Ее чувства взволновались, ее мысли смутились, первое впечатление было сильное, а от первого впечатления зависело всё остальное: он это знал и знал также, что самая ненависть ближе к любви, нежели равнодушие.

Княгиня уже собиралась возвратиться в

гостиную, как вдруг дверь легонько скрипнула, и вошла Варенька.

— Я тебя искала, *chère amie*, — воскликнула она, — ты, кажется, нездорова...

Вера Дмитриевна томно улыбнулась ей и сказала:

— У меня болит голова, там так жарко...

— Я за столом часто на тебя взглядывала, — продолжала Варенька, — ты всё время молчала, мне досадно было, что я не села возле тебя, тогда, может быть, тебе не было <бы> так скучно.

— Мне вовсе не было скучно, — отвечала княгиня, горько улыбнувшись, — Григорий Александрович был очень любезен.

— Послушай, мой ангел, я не хочу, чтоб ты называла брата Григорий Александрович. Григорий Александрович — это так важно: точно вы будто вчерашь токмо познакомились. Отчего не называть его просто Жорж, как прежде, он такой добрый.

— О, я этого последнего достоинства в нем ныне не заметила, он мне ныне наговорил таких вещей, которые б другая ему никогда не простила.

Вера Дмитриевна почувствовала, что проговорилась, но успокоилась тем, что Варенька, ветреная девочка, не обратит внимания на ее последние слова или скоро позабудет их. Вера Дмитриевна, к несчастью ее, была одна из тех женщин, которые обыкновенно осторожнее и скромнее других, но в минуты страсти проговариваются.

Поправя свои локоны перед зеркалом, она взяла под руку Вареньку, и обе возвратились в гостиную, а мы пойдем в кабинет Печорина, где собралось несколько молодых людей и где князь Степан Степанович с цыгаркою в зубах тщетно старался вмешиваться в их разговор. Он не знал ни одной петербургской актрисы, не знал ключа ни одной городской интриги и, как приезжий из другого города, не мог рассказать ни одной интересной новости. Женившись на молодой женщине, он старался казаться молодым на зло подставным зубам и некоторым морщинам. В продолжение всей своей молодости этот человек не пристрастился ни к чему — ни к женщинам, ни к вину, ни к картам, ни к

почестям, и со всем тем, в угодность товарищей и друзей, напивался очень часто, влюблялся раза три из угождения в женщин, которые хотели ему нравиться, проиграл однажды 30 т<ысяч>, когда была мода проигрывать, убил свое здоровье на службе потому, что начальникам это было приятно. Будучи эгоист в высшей степени, он однако слыл всегда добрым малым, готовым на всякие услуги, женился же он, потому что всем родным этого хотелось. Теперь он сидел против камина, куря сигарку и допивая кофе и внимательно слушая разговор двух молодых людей, стоявших против него. Один из них был артиллерийский офицер Браницкий, другой статский. Этот последний был одно из характеристических лиц петербургского общества.

Он был порядочного роста и так худ, что английского покроя фрак висел на плечах его как на вешалке. Жесткий атласный галстух подпирал его угловатый подбородок. Рот его, лишенный губ, походил на отверстие, прорезанное перочинным ножичком в картонной маске, щеки его, впалые и

смугловатые, местами были испещрены мелкими ямочками, следами разрушительной оспы. Нос его был прямой, одинаковой толщины во всей своей длине, а нижняя оконечность как бы отрублена, глаза, серые и маленькие, имели дерзкое выражение, брови были густы, лоб узок и высок, волосы черны и острижены под гребенку, из-за-галстуха его выглядывала борода *à la St.-Simonienne*. [11]

Он был со всеми знаком, служил где-то, ездил по поручениям, возвращаясь получал чины, бывал всегда в среднем обществе и говорил про связи свои с знатью, волочился за богатыми невестами, подавал множество проектов, продавал разные акции, предлагал всем подписки на разные книги, знаком был со всеми литераторами и журналистами, приписывал себе многие безымянные статьи в журналах, издал брошюру, которую никто не читал, был, по его словам, завален кучею дел и целое утро проводил на Невском проспекте. Чтоб закончить портрет, скажу, что фамилия его была малороссийская, хотя вместо Горшенко, он называл себя

Горшенков.

— Что вы ко мне никогда не заедете? — говорил ему Браницкий.

— Поверите ли, я так занят, — отвечал Горшенко, — вот завтра сам должен докладывать министру; — потом надобно ехать в комитет, работы тьма, не знаешь как отделаться; еще надобно писать статью в журнал, потом надобно обедать у князя N, всякий день где-нибудь на бале, вот хоть нынче у графини Ф. Так и быть уж пожертвую этой зимой, а летом опять запрусь в свой кабинет, окружу себя бумагами и буду ездить только к старым приятелям.

Браницкий улыбнулся и, насвистывая арию из Фенеллы, удалился.

Князь, который был мысленно занят своим делом, подумал, что ему не худо будет познакомиться с человеком, который всех знает и докладывает сам министру. Он завел с ним разговор о политике, о службе, потом о своем деле, которое состояло в тяжбе с казною о 20 т<ысячах> десятин лесу. Наконец князь спросил у Горшенки, не знает ли он одного чиновника Красинского, у которого в

столе разбираются его дела.

— Да, да, — отвечал Горшенко, — знаю, видал, но он ничего не может сделать, адресуйтесь к людям, которые более имеют весу, я знаю эти дела, мне часто их навязывали, но я всегда отказывался.

Такой ответ поставил в тупик кн<язя> Степана Степановича. Ему казалось, что перед ним в лице Горшенки стоит весь комитет министров.

— Да, — сказал он, — ныне эти вещи стали ужасно затруднительны.

Печорин, слышавший разговор и узнав от кн<язя>, в каком департаменте его дело, обещался отыскать Красинского и привезти его к князю.

Степан Степанович в восторге от его любезности пожал ему руку и пригласил его заезжать к себе всякий раз, когда ему нечего будет делать.

ГЛАВА VII

На другой день Печорин был на службе, провел ночь в дежурной комнате и сменился в 12 часов утра. Покуда он переоделся, прошел еще час. Когда он приехал в департамент, где служил чиновник Красинский, то ему сказали, что этот чиновник куда-то ушел; Печорину дали его адрес, и он отправился к Обухову мосту. Остановясь у ворот одного огромного дома, он вызвал дворника и спросил, здесь ли живет чиновник Красинский.

— Пожалуйте в 49 номер, — был ответ.

— А где вход?

— Со двора-с.

49 номер, и вход со двора! Этих ужасных слов не может понять человек, который не провел по крайней мере половины жизни в отыскивании разных чиновников, 49 номер есть число мрачное и таинственное, подобное числу 666 в Апокалипсисе. Вы пробираетесь сначала через узкий и угловатый двор, по глубокому снегу, или по жидкой грязи; высокие пирамиды дров

грозят ежеминутно подавить вас своим падением, тяжелый запах, едкий, отвратительный, отравляет ваше дыхание, собаки ворчат при вашем появлении, бледные лица, хранящие на себе ужасные следы нищеты или распутства, выглядывают сквозь узкие окна нижнего этажа. Наконец, после многих расспросов вы находите желанную дверь, темную и узкую, как дверь в чистилище; поскользнувшись на пороге, вы летите две ступени вниз и попадаете ногами в лужу, образовавшуюся на каменном помосте, потом неверною рукой ощупываете лестницу и начинаете взбираться наверх. Взойдя на первый этаж и остановившись на четверугольной площадке, вы увидите несколько дверей кругом себя, но увы, ни на одной нет номера; начинаете стучать или звонить, и обыкновенно выходит кухарка с сальной свечой, а из-за нее раздастся брань, или плач детей.

— Кого вам угодно?

— 49 номер.

— Здесь эдаких нет-с.

— Кто ж здесь живет?

Ответ бывает обыкновенно или какое-нибудь варварское имя или: «какое вам дело, ступайте выше!» Дверь захлопывается. Во всех других дверях та же сцена повторяется в разных видах, чем выше вы взбираетесь, тем хуже. Софист наблюдатель мог бы заключить из этого, что человек, приближаясь к небу, уподобляется растению, которое на вершинах гор теряет цвет и силу. Помучившись около часу, вы наконец находите желанный 49 номер или другой столько же таинственный, и то если дворник не был пьян и понял ваш вопрос, если не два чиновника с одинаковым именем в этом доме, если вы не попали на другую лестницу, и т. д. Печорин претерпел все эти мучения и наконец, вскарабкавшись на 4-й этаж, постучал в дверь; вышла кухарка, он сделал обычный вопрос, ему отвечали: «здесь». Он вошел, снял шинель в кухне и хотел идти далее, как вдруг кухарка остановила его, сказав, что господин Красинский не воротился еще из департамента. «Я подожду», — отвечал он, и вошел. Кухарка следовала за ним и разглядывала его с видом удивления. Белый

султан и красивый кавалерийский мундир были, по-видимому, явление необыкновенное на четвертом этаже. При входе Печорина в гостиную, если можно так назвать четырехугольную комнату, украшенную единственным столом, покрытым клеенкою, перед которым стоял старый диван и три стула, низенькая и опрятная старушка встала с своего места и повторила вопрос кухарки.

— Я ищу господина Красинского, может быть, я ошибся...

— Это мой сын, — отвечала старушка, — он скоро будет.

— Если вы мне позволите подождать, — продолжал Печорин.

— Сделайте одолжение, — прервала его старушка и торопливо придвинула стул.

Печорин сел. Окинув взором комнату и всё в ней находящееся, ему стало как-то неловко; если б судьба неожиданно бросила его во дворец персидского шаха, он бы скорее нашелся, нежели теперь.

Старушке с первого взгляда можно было дать лет 60, хотя она в самом деле была

моложе, но ранние печали сторбили ее стан, иссушили кожу, которая сделалась похожа цветом на старый пергамент. Синеватые жилы рисовались по ее прозрачным рукам, лицо ее было сморщено, в одних ее маленьких глазах, казалось, сосредоточились все ее жизненные силы, в них светили необыкновенная доброжелательность и невозмутимое спокойствие. Печорин, не зная, как начать разговор, стал перелистывать книгу, лежавшую на столе; он думал вовсе не о книге, но странное заглавие привлекло его внимание: *«Легчайший способ быть всегда богатым и счастливым»* сочинение Н. П. Москва, в тип. И. Глазунова, цена 25 копеек. Улыбка появилась на лице Печорина, эта книжка, как пустой лотерейный билет, была резкое изображение мечтаний, обманутых надежд, несбыточных, тщетных усилий представить себе в лучшем виде печальную сущность. Старушка заметила его улыбку и сказала:

— Я просила сына моего, прочитав объявление в газетах, чтоб он мне достал эту книжку, да в ней ничего нет.

— Я думаю, — возразил Печорин, — что никакая книга не может выучить быть счастливым. О, если б счастье была наука! дело другое!

— Разумеется, — возразила старуха, — утопающий за щепку хватается, мы не всегда были в таком положении, как теперь. Муж мой был польский дворянин, служил в русской службе, вследствие долгой тяжбы он потерял бóльшую часть своего имения, а остатки разграблены были в последнюю войну, однако же я надеюсь, скоро всё поправится. Мой сын, — продолжала она с некоторой гордостью, — имеет теперь очень хорошее место и хорошее жалованье.

После минутного молчанья она спросила:

— Вы, конечно, к моему сыну по какому-нибудь делу? Может быть, вам скучно будет дожидаться, так не угодно ли сказать мне, я ему передам.

— Мне препоручил, — отвечал Печорин, — кн<язь> Лиговской попросить вашего сына, чтобы он сделал одолжение, заехал к нему, у кн<язя> есть тяжба, которая теперь должна рассматриваться в столе у г. Красинского. Я

вас попрошу передать ему адрес князя. Вы меня очень одолжите, если уговорите вашего сына к нему заехать хоть завтра вечером, я там буду.

Написав адрес, Печорин раскланялся и подошел к двери. В эту минуту дверь отворилась, и он вдруг столкнулся с человеком высокого роста; они взглянули друг на друга, глаза их встретились, и каждый сделал шаг назад. Враждебные чувства изобразились на обоих лицах, удивление сковало их уста, наконец Печорин, чтобы выйти из этого странного положения, сказал почти шепотом:

— Милостивый государь, вспомните, что я не знал, что вы г. Красинский, иначе бы я не имел счастья встретиться с вами здесь. Ваша матушка объяснит вам причину моего посещения.

Они разошлись — не поклонившись. Печорин уехал. Эта случайная игра судьбы сильно его потревожила, потому что он в Красинском узнал того самого чиновника, которого несколько дней назад едва не задавил и с которым имел в театре историю.

Между тем Красинский, не менее пораженный этою встречей, сел противу своей матери на кресла, опустил голову на руку и глубоко задумался. Когда мать передала ему препоручения Печорина, стараясь объяснить, как выгодно было бы взяться за дело князя, и стала удивляться тому, что Печорин не объяснился сам, тогда Красинский вдруг вскочил с своего места, светлая мысль озарила лицо его, и воскликнул, ударив рукою по столу: «Да, я пойду к этому князю!» Потом он стал ходить по комнате мерными шагами, делая иногда бессвязные восклицания. Старушка, по-видимому, привыкшая к таким странным выходкам, смотрела на него без удивления. Наконец он опять сел, вздохнул и посмотрел на мать с таким видом, чтоб только начать разговор; она его угадала.

— Ну что, Станислав, — сказала она, — скоро ль тебе выйдет награждение? у нас денег осталось мало.

— Не знаю, — отвечал он отрывисто.

— Ты верно не сумел угодить начальнику отделения, — продолжала она, — ну что за

беда, что он твоими руками жар загребает; придет и твое время, а покаместь, если не будешь искать в людях, и бог тебя не взыщет.

Горькое чувство изобразилось на прекрасном лице Станислава, он отвечал глухим голосом:

— Матушка, вы хотите, чтобы я пожертвовал для вас даже характером, пожалуй, после всех жертв, которые я принес вам, это будет капля воды в море.

Она подняла к нему глаза, полные слез, и молчание снова воцарилось. Станислав стал перелистывать книгу и вдруг сказал, не отрывая глаз от параграфа, где безымянный сочинитель доказывал, что дружба есть ключ истинного счастья:

— Знаете ли, матушка, кто этот офицер, который был сегодня у нас?

— Не знаю, а что?

— Мой смертельный враг, — отвечал он.

Лицо старушки побледнело сколько могло побледнеть, она всплеснула руками и воскликнула:

— Боже мой, чего же он от тебя хочет?

— Вероятно он мне не желает зла, но зато я

имею сильную причину его ненавидеть. Разве когда он сидел здесь против вас, блистая золотыми эполетами, поглаживая белый султан, разве вы не чувствовали, не догадались с первого взгляда, что я должен непременно его ненавидеть? О, поверьте, мы еще не раз с ним встретимся на дороге жизни и встретимся не так холодно, как ныне. Да, я пойду к этому князю, какое-то тайное предчувствие шепчет мне, чтобы я повиновался указаниям судьбы.

Напрасны были все старания испуганной матери узнать причину такой глубокой ненависти. Станислав не хотел рассказывать, как будто боялся, что причина ей покажется слишком ничтожна. Как все люди страстные и упорные, увлекаемые одной постоянною мыслию, он больше всех препятствий старался избегать убеждений рассудка, могущих отвлечь его от предположенной цели.

На другой день он оделся как можно лучше. Целое утро он прилежно, может быть, в первый раз от роду, рассматривал с ног до головы департаментских франтиков, чтоб

выучиться повязывать галстук и запомнить, сколько пуговиц у жилета надобно застегнуть; и пожертвовал четвертак Фаге, который бессовестно взбил его мягкие и волнистые кудри в жесткий и неуклюжий хохол; а когда пробило 7 часов вечера, Красинский отправился на Морскую, полный смутных надежд и опасений!..

ГЛАВА VIII

У князя Лиговского были гости, кое-кто из родных, когда Красинский вошел в лакейскую.

— Князь принимает? — спросил он, нерешительно взглядывая то на того, то на другого лакея.

— Мы не здешние, — отвечал один из них, даже не приподнявшись с барской шубы...

— Нельзя ли, любезный, вызвать швейцара?..

— Он верно сейчас сам выйдет, — был ответ, — а нам нельзя!

Наконец явился швейцар.

— Князь Лиговской дома?

— Пожалуйте-с.

— Доложи, что пришел Красинский, — он меня знает!

Швейцар отправился в гостиную и, подойдя к к<нязю> Степан Степанычу, сказал ему тихо:

— Господин Красинский приехал-с; он говорит, что вы изволите его знать.

— Какой Красинский? Что ты врешь? —

воскликнул князь, важно прищурясь.

Печорин, прислушавшись в чем дело, поспешил на помощь сконфуженному швейцару.

— Это тот самый чиновник, — сказал он, — у которого ваше дело. Я к нему нынче заезжал.

— А! очень обязан, — отвечал Степан Степ<анович>.

Он пошел в кабинет и велел просить туда чиновника. Мы не будем слушать их скучных толков о запутанном деле, а останемся в гостиной; две старушки, какой-то камергер и молодой человек обыкновенной наружности играли в вист; княгиня Вера и другая молодая дама сидели на канапе возле камина, слушая Печорина, который, придвинув свои кресла к камину, где сверкали остатки каменных угольев, рассказывал им одно из своих походов во время Польской кампании. Когда Степан Степаныч ушел, он занял праздное место, чтоб находиться ближе к княгине.

— Итак, вам велели отправиться со взводом в эту деревню, — сказала молодая

дама, которую Вера называла кузиною, продолжая прерванный разговор.

— И я, как разумеется, отправился, хотя ночь была темная и дождливая, — сказал Печорин, — мне велено было отобрать у пана оружие, если найдется, а его самого отправить в главную квартиру... Я только что был произведен в корнеты, и это была первая моя откомандировка. К рассвету мы увидели перед собою деревню с каменным господским домом, у околицы мои гусары поймали мужика и притащили ко мне. Показания его об имени пана и о числе жителей были согласны с моею инструкциею.

— А есть ли у вашего пана жена или дочери? — спросил я.

— Есть, пане капитане.

— А как их зовут, графиню, жену вашего Острожского?

— Графиня Рожа.

— Должно быть красавица, — подумал я наморщась.

— Ну а дочки ее такие же рожи, как их маменька?

— Нет, пане капитане, старшая называется

Амалия и меньшая Эвелина.

— Это еще ничего не доказывает, — подумал я. Гр<афиня> рожа меня мучила, я продолжал расспросы:

— А что сама гр<афиня> Рожа старуха?

— Ни, пане, ей всего 33 года.

— Какое несчастье!

Мы въехали в деревню и скоро остановились у ворот замка. Я велел людям слезть и в сопровождении унтер-офицера вошел в дом. Всё было пусто. Пройдя несколько комнат, я был встречен самим графом, дрожащим и бледным, как полотно. Я объявил ему мое поручение, разумеется он уверял, что у него нет оружий, отдал мне ключи от всех своих кладовых и, между прочим, предложил завтракать. После второй рюмки хереса граф стал просить позволения представить мне свою супругу и дочерей.

— Помилуйте, — отвечал я, — что за церемония. — Я, признаться, боялся, чтобы эта Рожа не испортила моего аппетита, но граф настаивал и, по-видимому, сильно надеялся на могущественное влияние своей Рожи. Я еще отнекивался, как вдруг дверь

отворилась и вошла женщина, высокая, стройная, в черном платье. Вообразите себе польку и красавицу польку в ту минуту, как она хочет обворожить русского офицера. Это была сама графиня Розалия или Роза, по простонародному Рожа.

Эта случайная игра слов показалась очень забавна двум дамам. Они смеялись.

— Я предчувствую, вы влюбились в эту Рожу, — воскликнула наконец молодая дама, которую княгиня Вера называла кузиной.

— Это бы случилось, — отвечал Печорин, — если б я уже не любил другую.

— Ого! постоянство, — сказала молодая дама. — Знаете, что этой добродетелью не хвастаются?

— Во мне это не добродетель, а хроническая болезнь.

— Вы однако же вылечились? — По крайней мере лечусь, — отвечал Печорин.

Княгиня на него быстро взглянула, на лице ее изобразилось что-то похожее на удивление и радость. Потом вдруг она сделалась печальна. Этот быстрый переход чувств не ускользнул от внимания Печорина, он

переменил разговор, анекдот остался неконченным и скоро был забыт среди веселой и непринужденной беседы. Наконец подали чай, и вошел князь, а за ним Красинский, князь отрекомендовал его жене и просил садиться. Взоры маленького кружка обратились на него, и молчание воцарилось. Если б князь был петербургский житель, он бы задал ему завтрак в 500 р<ублей>; если имел в нем нужду, даже пригласил бы его к себе на бал или на шумный раут потолкаться между разного рода гостями, но ни за что в мире не ввел бы <в> свою гостиную запросто человека постороннего и никаким образом не принадлежащего к высшему кругу; но князь воспитывался в Москве, а Москва такая гостеприимная старушка. Княгиня из вежливости обратилась к Красинскому с некоторыми вопросами, он отвечал просто и коротко.

— Мы очень благодарны, — сказала она наконец, — г<осподину> Печорину за то, что он доставил нам случай с вами познакомиться.

При этих словах Печорин и Красинский

невольно взглянули друг на друга и последний отвечал скоро:

— Я еще более вас должен быть благодарен г<осподину> Печорину за эту неоцененную услугу.

По губам Печорина пробежала улыбка, которая могла бы выразиться следующей фразой: — «Ого, наш чиновник пускается в комплименты»; — понял ли Красинский эту улыбку или же сам испугался своей смелости, потому что, вероятно, это был его первый комплимент, сказанный женщине, так высоко поставленной над ним обществом, не знаю, — но он покраснел и продолжал неуверенным голосом:

— Поверьте, княгиня, что я никогда не забуду приятных минут, которые позволили вы мне провести в вашем обществе: — прошу вас не сомневаться: я исполню всё, что будет зависеть от меня... и к тому же ваше дело только запутано, — но совершенно правое...

— Скажите, — спросила его княгиня с тем участием, которое похоже на обыкновенную вежливость, когда не знают, что сказать незнакомому человеку, —

скажите: вы, я думаю, ужасно замучены делами... Я воображаю эту скуку: с утра до вечера писать и прочитывать длинные и бессвязные бумаги... это нестерпимо: — поверите ли, что мой муж каждый день в продолжение года толкует и объясняет мне наше дело, а я до сих пор ничего еще не понимаю.

— Какой любезный и занимательный супруг, — подумал Печорин...

— Да и зачем вам, княгиня? — сказал Красинский, — ваш удел забавы, роскошь, а наш — труд и заботы; оно так и следует: если б не мы, кто бы стал трудиться.

Наконец и этот разговор истощился: Красинский встал, раскланялся... Когда он ушел, то кухня княгини заметила, что он вовсе не так неловок, как бы можно ожидать от чиновника, и что он говорит вовсе не дурно. Княгиня прибавила: «*et savez-vous, ma chère, qu'il est très bien!..*»[12] — Печорин при этих словах стал превозносить до невозможности его ловкость и красоту: он уверял, что никогда не видывал таких темноглазых глаз ни у одного чиновника на

свете, и уверял, что Красинский, судя по его, глубоким замечаниям, непременно будет великим государственным человеком, если не останется вечно титюлярным советником... «Я непременно узнаю, — прибавил он очень серьезно, — есть ли у него университетский аттестат!..»

Ему удалось рассмешить двух дам и обратить разговор на другие предметы: несмотря на то, выражение княгини глубоко врезалось в его памяти: оно показалось ему упреком, хотя случайным, но тем не менее язвительным. — Он прежде сам восхищался благородной красотой лица Красинского, но когда женщина, увлекавшая все его думы и надежды, обратила особенное внимание на эту красоту... он понял, что она невольно сделала сравнение для него убийственное, и ему почти показалось, что он вторично потерял ее навеки. И с этой минуты в свою очередь возненавидел Красинского. Грустно, а надо признаться, что самая чистейшая любовь наполовину перемешана с самолюбием.

Увлекаясь сам наружной красотой и

обладая умом резким и пронизательным, Печорин умел смотреть на себя с беспристрастием и, как обыкновенно люди с пылким воображением, переувеличивал свои недостатки. Убедясь по собственному опыту, как трудно влюбиться в одни душевные качества, он сделался недоверчив и приучился объяснять внимание или ласки женщин — расчетом или случайностью. То, что казалось бы другому доказательством нежнейшей любви, — пренебрегал он часто как приметы обманчивые, слова, сказанные без намерения, взгляды, улыбки, брошенные на ветер, первому, кто захочет их поймать; другой бы упал духом и уступил соперникам поле сражения... но трудность борьбы увлекает упорный характер, и Печорин дал себе честное слово остаться победителем: следуя системе своей и вооружась несносным наружным хладнокровием и терпением, он мог бы разрушить лукавые увертки самой искусной кокетки... Он знал аксиому, что поздно или рано слабые характеры покоряются сильным и непреклонным, следуя какому-то закону природы, доселе

необъясненному; можно было наверное сказать, что он достигнет своей цели... если страсть, всемогущая страсть не разрушит, как буря, одним порывом высокие подмости его рассудка и старание... Но это если, это ужасное *если*, почти похоже на *если* Архимеда, который обещался приподнять земной шар, если ему дадут точку упора.

Толпа разных мыслей осаждала ум Печорина, так что под конец вечера он сделался рассеян и молчалив; князь Степан Степаныч рассказывал длинную историю, почерпнутую из семейных преданий; дамы украдкой зевали.

— Отчего вы сделались так печальны? — спросила наконец у Печорина кузина Веры Дмитриевны.

— Причину даже совестно объявить, — отвечал Печорин...

— Однако ж!..

— Зависть!..

— Кому ж вы завидуете?.. например...

— Не мне ли? — сказал князь, тонко улыбаясь и не воображая важности этого вопроса: Печорину тотчас пришло в мысль,

что княгиня рассказала мужу прежнюю их любовь, покаялась в ней как в детском заблуждении; если так, то всё было кончено между ними, и Печорин неприметно мог сделаться предметом насмешки для супругов, или жертвою коварного заговора; я удивляюсь, как это подозрение не потревожило его прежде, но уверяю вас, что оно пришло ему в голову именно теперь; он обещал себе постараться узнать, исповедывалась ли Вера своему мужу, и между тем отвечал:

— Нет, князь; не вам, хотя бы я мог, и всякий должен вам завидовать... но признаюсь, я бы желал иметь счастливый дар этого Красинского — нравиться всем с первого взгляда...

— Поверьте, — отвечала княгиня, — кто скоро нравится, об том скоро и забывают.

— Боже мой! что на свете не забывается?... и если считать ни во что минутный успех — то где же счастье? Добиваешься прочной любви, прочной славы, прочного богатства... глядишь... смерть, болезнь, пожар, потоп, война, мир, соперник, перемена общего

мнения — и все труды пропали!.. а забвенье? — забвенье равно неумолимо к минутам и столетиям. — Если б меня спросили, чего я хочу: минуту полного блаженства или годы двусмысленного счастья... я бы скорей решился сосредоточить все свои чувства и страсти на одно божественное мгновенье и потом страдать сколько угодно, чем мало-помалу растягивать их и размещать по нумерам в промежутках скуки или печали.

— Я во всем с вами согласна, кроме того, что всё на свете забывается — есть вещи, которых забыть невозможно... особенно горести, — сказала княгиня.

Ее милое лицо приняло какой-то полухолодный, полугрустный вид, и что-то похожее на слезу пробежало, блистая, вдоль по длинным ее ресницам, как капля дождя, забытая бурей на листке березы, трепеща перекачивается по его краям, покуда новый порыв ветра не умчит ее — бог знает куда.

Печорин с удивлением взглянул на нее... но увы! он не мог ничем объяснить этот странный припадок грусти! Он так давно

разлучен был с нею: и с тех пор он не знал ни одной подробности ее жизни... даже очень вероятно, что чувства Веры в эту минуту относились вовсе не к нему? — мало ли могло быть у нее обожателей после его отъезда в армию; может быть и ей изменил который-нибудь из них, — как знать!..

*Кто объяснит, кто растолкует
Очей двусмысленный язык...*

Когда он встал, чтобы уезжать, княгиня его спросила, будет ли он послезавтра на бале у баронессы Р., ее родственницы... «Мне досадно, что баронесса так убедительно нас звала, — прибавила она; — я почти вовсе не знаю здешнего круга и уверена, что мне там будет скушно...»

Печорин отвечал, что он еще не зван...

— Теперь я понимаю, — подумал он, садясь в сани, — ей хочется иметь на этом бале знакомого кавалера... Дай бог, чтоб меня не звали: там, верно, будет Лиза Негурова... Ах! боже мой, да, кажется, они с Верой давнишние знакомые... О! но если она осмелится...

Тут сани его остановились, и мысли также. — Взойдя к себе в кабинет, он нашел на столе пригласительный билет от баронессы.

ГЛАВА IX

Баронесса Р** была русская, но замужем за Курляндским бароном, который каким-то образом сделался ужасно богат; она жила на Мильонной в самом центре высшего круга. С 11 часа вечера кареты, одна за одной, стали подъезжать к ярко освещенному ее подъезду: по обеим сторонам крыльца теснились на тротуаре прохожие, остановленные любопытством и опасностью быть раздавленными. В числе их был Красинский: прижавшись к стене, он с завистью смотрел на разных господ со звездами и крестами, которых длинные лакеи осторожно вытаскивали из кареты, на молодых людей, небрежно выскакивавших из саней на гранитные ступени, и множество мыслей теснилось в голове его. «Чем я хуже их? — думал он. Эти лица, бледные, истощенные, искривленные мелкими страстями, ужели нравятся женщинам, которые имеют право и возможность выбирать? Деньги, деньги и одни деньги, на что им красота, ум и сердце? О, я буду богат непременно, во что бы то ни

стало, и тогда заставлю это общество отдать мне должную справедливость».

Бедный, невинный чиновник! он не знал, что для этого общества, кроме кучи золота, нужно имя, украшенное историческими воспоминаниями (какие бы они ни были), имя, столько у нас знакомое лакейским, чтоб швейцар его не исковеркал, и чтобы в случае, когда его произнесут, какая-нибудь важная дама, законодательница и судия гостиных, спросила бы — который это? не родня ли он князю В, или графу К? Итак, Красинский стоял у подъезда, закутанный в шинель. Вот подъехала карета; из нее вышла дама: при блеске фонарей брильянты ярко сверкали между ее локонами, за нею вылез из кареты мужчина в медвежьей шубе. Это были князь Лиговский с княгиней; Красинский поспешно высунулся из толпы зевак, снял шляпу и почтительно поклонился, как знакомым, но увы! его не заметили или не узнали, что еще вероятнее. И в самом деле, женщине, видевшей его один только раз и готовой предстать на грозный суд лучшего общества, и пожилому мужу, следующему на бал за

хорошенькою женою, право, не до толпы любопытных зевак, мерзнущих у подъезда, но Красинский приписал гордости и умышленному небрежению вещь чрезвычайно простую и случайную, и с этой минуты тайная неприязнь к княгине зародилась в его подозрительном сердце. «Хорошо, — подумал он, удаляясь, — будет и на нашей улице праздник», — жалкая поговорка мелочной ненависти.

Между тем в зале уже гремела музыка, и бал начинал оживляться; тут было всё, что есть лучшего в Петербурге: два посланника, с их заморскою свитою, составленною из людей, говорящих очень хорошо по-французски (что впрочем вовсе не удивительно) и поэтому возбуждавших глубокое участие в наших красавицах, несколько генералов и государственных людей, — один английский лорд, путешествующий из экономии и поэтому не считающий за нужное ни говорить, ни смотреть, зато его супруга, благородная леди, принадлежавшая к классу blue stockings[13] и некогда грозная гонительница Байрона,

говорила за четверых и смотрела в четыре глаза, если считать стекла двойного лорнета, в которых было не менее выразительности, чем в ее собственных глазах; тут было пять или шесть наших доморощенных дипломатов, путешествовавших на свой счет не далее Ревеля и утверждавших резко, что Россия государство совершенно европейское, и что они знают ее вдоль и поперек, потому что бывали несколько раз в Царском Селе и даже в Парголове. Они гордо посматривали из-за накрахмаленных галстухов на военную молодежь, по-видимому, так беспечно и необдуманно преданную удовольствию: они были уверены, что эти люди, затянутые в вышитый золотом мундир, неспособны ни к чему, кроме машинальных занятий службы. Тут могли бы вы также встретить несколько молодых и розовых юношей, военных с тупеями, штатских, причесанных á la russe, [14] скромных подобно наперсникам классической трагедии, недавно представленных высшему обществу каким-нибудь знатным родственником: не успев познакомиться с большею частью дам, и

страшась, приглашая незнакому на кадрили или мазурку, встретить один из тех ледяных ужасных взглядов, от которых переворачивается сердце как у больного при виде черной микстуры, — они робкою толпою зрителей окружали блестящие кадрили и ели мороженое — ужасно ели мороженое. — Исключительно танцующие кавалеры могли разделиться на два разряда; одни добросовестно не жалели ни ног, ни языка, танцевали без усталости, садились на край стула, обратившись лицом к своей даме, улыбались и кидали значительные взгляды при каждом слове, — короче, исполняли свою обязанность как нельзя лучше — другие, люди средних лет, чиновные, заслуженные ветераны общества, с важною осанкой и гордым выражением лица, скользили небрежно по паркету, как бы из милости или снисхождения к хозяйке; и говорили только с дамою своего *vis-à-vis*, [15] когда встречались с нею, делая фигуру.

Но зато дамы... о! дамы были истинным украшением этого бала, как и всех возможных балов!.. сколько блестящих глаз и

бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент... чудеса природы, и чудеса модной лавки... волшебные маленькие ножки и чудно узкие башмаки, беломраморные плечи и лучшие французские белилы, звучные фразы, заимствованные из модного романа, бриллианты, взятые на прокат из лавки... Я не знаю, но в моих понятиях женщина на бале составляет с своим нарядом нечто целое, нераздельное, особенное; женщина на бале совсем не то, что женщина в своем кабинете, судить о душе и уме женщины, протанцовав с нею мазурку, всё равно, что судить о мнении и чувствах журналиста, прочитав одну его статью.

У двери, ведущей из залы в гостиную, сидели две зрелые девы, вооруженные лорнетами и разговаривающие с двумя или тремя молодыми людьми — не танцующими. Одна из них была Лизавета Николавна. Пунцовое платье придавало ее бледным чертам немного более жизни, и вообще она была к лицу одета. В надежде на это преимущество она довольно холодно отвечала на вежливый поклон Печорина,

когда тот подошел к ней. (Надобно заметить между прочим, что дама дурно одетая обыкновенно гораздо любезнее и снисходительнее — это впрочем вовсе не значит, что они должны дурно одеваться.) Печорин стал возле Елиз<аветы> Николавны, ожидая, чтобы она начала разговор, и рассеянно смотрел на танцующих. Так прошло несколько минут, и наконец она принуждена была сорвать с своих уст печать молчания.

— Отчего вы не танцуете? — спросила она его.

— Я всегда и везде следую вашему примеру.

— Разве с нынешнего дня.

— Что ж, лучше поздно, чем никогда. Не правда ли?

— Иногда бывает слишком поздно.

— Боже мой! какое трагическое выражение!

Лизавета Николавна чуть-чуть не оскорбилась, но старалась улыбнуться и отвечала:

— Я с некоторых пор перестала удивляться

вашему поведению. Для других бы оно показалось очень дерзко, для меня очень натурально. О, я вас теперь очень хорошо знаю.

— А нельзя ль узнать, кто так искусно объяснил вам мой характер?

— О, это тайна, — сказала она, взглянув на него пристально и прижав к губам свой веер.

Он наклонился и с притворной нежностью шепнул ей на ухо:

— Одну тайну вашего сердца вы мне давно уже поверили, — ужели другая важнее первой?

Она покраснела при всей своей неспособности краснеть, но не от стыда, не от воспоминания, не от досады; — невольное удовольствие, тайная надежда завлечь снова непостоянного поклонника, выйти замуж или хотя отомстить со временем по-своему, по-женски, промелькнули в ее душе. Женщины никогда не отказываются от таких надежд, когда представляется какая-нибудь возможность достигнуть цели, и от таких удовольствий, когда цель достигнута.

Приняв тотчас серьезный, печальный вид,

она отвечала с расстановкою:

— Вы мне напоминаете вещи, об которых я хочу забыть.

— Но еще не забыли? — сказал он с нежностью.

— О, не продолжайте, я ничему не поверю более, вы мне дали такой урок...

— Я?

В этом я было больше удивления, чем в пяти восклицательных знаках, поставленных рядом. Потом Печорин задумался.

— Да, — сказал он, — теперь я начинаю понимать; кто-нибудь меня оклеветал перед вами, у меня столько врагов и особенно друзей, теперь понимаю, отчего наемдни, когда я заезжал к вам, это было поутру, и я знаю, что у вас были гости, то меня не приняли; о, конечно, я сам не буду искать вторично такого оскорбления.

— Но вы не знаете, что этому причиною, — сказала поспешно Елизавета Николаевна, — я получила письмо от неизвестного, в котором...

— В котором меня хвалят и толкуют мои поступки в самую лучшую сторону, —

отвечал, горько улыбаясь, Печорин, — о, я догадываюсь, кто мне оказал эту услугу, однако ж прошу вас, верьте, верьте всему, что там написано, как вы верили до сей минуты.

Он засмеялся и хотел отойти прочь.

— Но если я не верю? — воскликнула испугавшись Елизавета Николаевна.

— Напрасно, всегда выгоднее верить дурному, чем хорошему... один против двадцати, что... — он не кончил фразы, глаза его устремились на другую дверь залы, где произошло небольшое движение, глаза Елизаветы Николаевны боязливо обратились в ту же сторону.

Сквозь толпу приближалась к гостинной княгиня Лиговская и за нею князь Степан Степ<анович>.

Она была одета со вкусом, только строгие законодатели моды могли бы заметить с важностью, что на ней было слишком много бриллиантов. Она медленно подвигалась сквозь толпу, небрежно раздавшаюся перед нею. Ни одно приветствие не удерживало ее на пути, и сто любопытных глаз, озиравших с головы до ног незнакомую красавицу,

вызвали краску на нежные щеки ее, — глаза покрылись какою-то электрической влагой, грудь неровно подымалась, и можно было догадаться по выражению лица, что настала минута для нее мучительна<я>. Она была похожа на неизвестного оратора, всходящего в первый раз по ступеням кафедры... от этого бала зависел успех ее в модном свете... некстати пришитый бант, не на месте приколотый цветок мог навсегда разрушить ее будущее... И в самом деле, может ли женщина надеяться на успех, может ли она нравиться нашим франтам, если с первого взгляда скажут: elle a l'air bourgeois[16] — это выражение, так некстати вкравшееся в наше чисто дворянское общество, имеет однако же ужасную власть над умами — и отнимает все права у красоты и любезности:

Вкус, батюшка, отменная манера.

Когда княгиня поровнялась с Печориным, то едва отвечала легким наклоением головы и мимолетной улыбкой на его поклон, — он хотел что-то сказать, но она отвернулась;

глаза ее беспокойно бегали кругом, стараясь открыть хоть еще одно знакомое лицо... и упали на Лизавету Николавну... Узнав друг друга, соперницы очень ласково обменялись приветствиями... Потом кто-то еще высунулся из толпы мужчин и с радостным видом стал спрашивать княгиню Веру, когда она из Москвы и проч.... — Она постепенно делалась приветливей, так что можно почти держать пари, что если б она встретила здесь 99 знакомых, то девяносто девятый остался бы в счастливом убеждении, что одним взглядом победил ее сердце.

Только что княгиня и князь прошли в гостиную, Лизавета Николавна тотчас обратилась к Печорину, чтоб возобновить прерванный разговор, — но он был так бледен, так неподвижен, что ей стало страшно.

— Появление этой дамы, — сказала она наконец ему, — сделало на вас очень странное впечатление!.. вы давно ее знаете?

— С детства! — отвечал Печорин.

— Я также ее когда-то знала... за кем она замужем?

Печорин сказал.

— Как! — неужели этот господин, который за нею шел так смиренно, ее муж?.. если б я их встретила на улице, то приняла бы его за лакея. — Я думаю, она делает из него всё, что хочет.

— По крайней мере всё, что можно из него сделать!..

— Однако она счастлива...

— Разве вы не заметили, сколько на ней бриллиантов?

— Богатство не есть счастье!..

— Всё-таки оно ближе к нему, нежели бедность: — нет ничего безвкуснее, как быть довольну своей судьбою в скромной хижине... за чашкою грешневой каши.

— Кто ж вам говорит о бедности? везде надо уметь выбирать середину...

— Я вам желаю мужа, который бы так думал.

Он отошел. Кадрили кончались, — музыка замолкла: в широкой зале раздавался смешанный говор тонких и толстых голосов, шарканье сапогов и башмачков; — составились группы. — Дамы пошли в другие

комнаты подышать свежим воздухом, пересказать друг другу свои замечания, немногие кавалеры за ними последовали, не замечая, что они лишние, и что от них стараются отделаться; — княгиня пришла в залу и села возле Негуровой. Они возобновили старое знакомство, и между ними завязался незначительный разговор.

Примечания

кстати (*франц.*)

[^^^]

господин Жорж (*франц.*)

[^^^]

3

Он очень любезен (*франц.*)

[^^^]

4

веселая шайка (*франц.*)

[^^^]

по-китайски (*франц.*)

[^^^]

6

как у госпожи Севинье (*франц.*)

[^^^]

7

во вкусе молодой Франции (*франц.*)

[^^^]

по-руски (*франц.*)

[^^^]

по-средневековому (*франц.*)

[^^^]

как у Тита (*франц.*)

[^^^]

во вкусе последователей Сен-Симона (*франц.*)

[^^^]

12

а знаете, дорогая, он очень приличен (*франц.*)

[^^^]

синих чулок (*англ.*)

[^^^]

по-руски (*франц.*)

[^^^]

буквально лицом к лицу, в данном случае партнер по танцу (франц.)

[^^^]

у нее вид мещанки (*франц.*)

[^^^]